

Дальнее — близкое

Вся выработка нашего завода отправлялась в город. Его обычно не называли.

Любому из подростков было известно, что до города сорок семь верст, что самое трудное место в дороге — кривой Шеманаев угор, а в городе — «железный круг» и «привокзальная топесь». На «железный круг» и «топесь» была заметная прибавка провозной платы, но каждый из возчиков железа старался «выхватить езду в лавку».

«Лавка», или, как ее официально называли «склад металлов Сысертских заводов», была «с ходу», вблизи Хлебного рынка.

— Удобство — в лавку-то, — хвалились возчики. — Сдача маховая, успевай по весам пропустить. Приказчик за одним глядит: не убавлено ли дорогой. А как его убавишь, коли кровельное да прутовое в пачках, а шинное — в сгибнях. Попробуй отгрызи! Да и всякому лестно другой раз езду в лавку получить. Сторожатся, чтобы оплошки не вышло. Глядишь, сдача-то вприскок идет. Сдал — и сразу на Хлебный. Распрег лошадь, поставил к хрептюгу, а сам можешь горяченького хлебнуть, коли пятак имеешь: Обжорный рядом.

Совсем по-другому рассказывали о привокзальных складах:

— Хуже места выбрать не нашли. Дальше лавки-то версты на три, и сдача там самая канительная: один принимает, другой проверяет, а третий хабару ждет. В ненастье там чистый конобой. Место, видишь, ровное, стоку воде не налажено, а подвоз большой. В ненастье до того растопчут, что напросто еле ноги вытянешь из грязи. А с возом как? Старику либо женщине, о маленьком не говоря, при таком никак не сподручно. Да еще машина свистит. Какая молоденькая лошаденка шарахнется — других всполошит. Знай посматривай, а то и себя и животину загубить недолго, особенно, когда близко «крестовые воза», с долгим железом, придутся. С народом тоже рассорки много. Всяк, понятно, старается, захватить для себя и своей артели место поближе. Ну и лаются, а иной раз и до кулаков дойдет. Сдашь железо, так еще сколько времени выбираешься, потому дорога заставлена вновь приехавшими. А ездят с дальних заводов большими артелями, человек по полсотни. Сговорись с ними добром, когда у каждого одно на уме: как бы поскорее к весовщикам пробиться! Сколь ни худая дорога порой случится, а этот железный круг того тошней. Выберешься из него, как из шахты вылезешь.

Вероятно, этот «железный круг» был одной из причин, почему ребята школьного возраста даже в тех семьях, где исключительно занимались возкой железа, почти не бывали в городе. По крайней мере на своей улице я не знал ни одного из ровесников, который бы мог похвалиться, что бывал в городе.

Все мы, конечно, интересовались городом, но слышали больше об одном: лавке и железном круге. Женское население, бывавшее в городе главным образом во время послепасхальных «дешевок», когда спускался залежавшийся товар, обычно жаловалось на давку и недобросовестность продавцов:

— На глазах обмерил! Не то поддернул! Хороший ситчик выбирала, а он с другого, видно, конца отрезал: гнилой оказался.

Редкая хвалилась:

— Вижу, не добиться, наудалую пошла: выхватила у одной тетери, говорю приказчику: «Режь пятнадцать аршин!» А ему что? На аршин — да и ножницами, а та бабенка на меня налетела. Ну, а ей говорю: «Кто зеваает, тот воду хлебает».

Мой отец за годы службы в солдатах побывал во многих городах. Он охотно отвечал на вопросы, говорил «при случае», но связно рассказывать не любил и, может быть, не умел.

На вопрос о городе он отвечал:

— На другие города наш не походит. Он вроде самого главного завода. На железе родился, железом опоясался и железом кормится.

Заметив мое недоумение, пояснил:

— Видал, сколько зимой баранины по городской дороге мимо нас провозят, а летом сколько табунов проходит? Обратно каждый, небось, продавец что-нибудь из железка везет. Топоры, пилы, подковы, котлы. И это им — самое нужное. Вот и выходит, что за железом ездили, — попутно свой товар везли. Тоже вон теперь мельниц по Исети много настроили. Думаешь, почему? Не больно у нас хлебная сторона, больше прииски и рудники. Хлеб с других мест привозят, потому как тут железная дорога подошла, а ее ведь за железком провели.

На нашей улице жил дедушка Платон. Он называл себя отставным мастеровым казенных заводов и получал какой-то «пензион». Доживал

дедушка Платон свои дни «при внучке», которая вышла замуж за сысертского доменщика Пролубщикова.

Старик смог выдержать тридцать лет военно-каторжной работы на заводе и теперь хвалился:

— Солдатское житьё супротив нашего — вроде разгулки. Потому солдат не каждый день кровь проливает, а на заводе чуть что, ложись! Так исполосуют, еле жив останешься.

О городе дедушка Платон говорил:

— Другого такого по всей нашей земле не найдешь. В прочих городах, известно, всегда городничий полагается и другое начальство тоже, а у нас — один горный начальник. И никто ему не указ, кроме самого царя да сенату. Губернатор ли там, исправник — ему ни при чем. Что захочет, то и сделает. Такое ему доверие дано. Горный начальник тут всеми поворачивал. Строгость была, не приведи бог. Теперь приснится, так испугаться можно.

Потом я узнал, что действительно в «горном уставе» была специальная статья, гласившая, что горное управление, «кроме высочайшей власти и правительствующего сената, ни от кого никаких указов не получает». Горному управлению даже предоставлялось право производства в чины до девятого класса включительно.

В летнюю пору, во второй половине июня старого стиля, городская жизнь отражалась на нашем заводе в виде «трудников» и конских табунов. В это время женский монастырь справлял свой годовой праздник, тогда же проходила конская ярмарка.

«Трудники», чаще всего старики и старухи, проходившие на богомолье, не привлекали ребячьего внимания. Зато прохождение табунов представляло много соблазнительного. Жившие в стороне от Челябинского тракта тогда по целым дням толпились около Зареченского моста, чтоб не пропустить какой-нибудь из проходивших табунов. Взрослое мужское население тоже было неравнодушно к этим табунам, и, кому только можно было отлучиться, все «присматривали из проходящих». Порой кричали:

— Эй, знаком! Продай вон ту гнедую. Во втором ряду, справа четвертая.

Все заранее знали, какой будет ответ:

— Нильзя, друг! Ярманкам гуляй. Город цина давал.

Наиболее заинтересованные пытались урезонить:

— Да что город! Деньги сейчас даю. Сколько просишь-то?

Ответ, однако, оставался неизменным:

— Ярманкам ходи! Город цина давал.

Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил «отборок» — табун иноходцев, и достигало предела при прохождении одномостки. Об этом как-то узнавали заранее, и прилегающие к тракту улицы густо заполнялись зрителями. Стояли часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти не различимых одна от другой по масти.

Заводские подрядчики, имевшие деньги и большой азарт, начальство, купцы наперебой соблазняли табунщиков разными обещаниями «продать любую». Было забавно и чем-то приятно слышать, что все эти посулы богатых лошадников разбивались тем же:

— Ярманкам гуляй. Город цина давал.

Нас, ребят, больше всего занимало, кто может в городе купить столько лошадей. После ярмарки опять дежурили у моста, чтобы посмотреть, много ли лошадей пройдет обратно. Но картина была обычно такая: гнали «махан» — старых, «изробленных» или покалеченных лошадей — с расчетом подкормить в степи и забить на мясо.

Взрослые на вопрос, куда так много лошадей покупают в городе, объясняли:

— Многолюдство же там. Со всех заводов железо туда возят. На одном железном кругу сколь лошадей изводится. На ярмарке эти люди, которые железо возят, вот и покупают лошадку. Где больше свеженькую-то доступишь!

Все эти объяснения казались неудовлетворительными. Каждому из ребят хотелось самому побывать в городе, посмотреть своими глазами. Особенно манила невиданная «чугунка», как тогда даже в учебниках звали железную дорогу.

Мой отъезд в город на учебу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что Чернобородый, как ребята звали уездного ветеринарного врача Алчаевского, «берется выучить Егоршу в городе», но все же полной веры этому не было.

— Может, еще раздумает. Мало ли большие обещают?

Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы было известно со всеми подробностями:

— Завтра Егорша поедет. В десятом часу. С отцом, с матерью. На дедушковом Чалке, в гоглевском коробке. Дрожки-то у них рябиновые. Сам старик Гоглев делал. Качкие! Егорша до городу сам править будет.

По такому случаю накануне были «прощальные игры». Вечером долго засиделся со своими «заединщиками». Петька откровенно завидовал:

— Не к рукам куделя! Мне бы поехать! Это бы так точно. Знал бы, на какое место поглядеть!

Такое хвастовство в обычных условиях встретило бы ожесточенный отпор, вплоть до рукопашного, но теперь воспринималось вяло. Кольша помалкивал, только при прощании сказал:

— Первым делом чугунку погляди и железный круг тоже. Потом расскажешь.

Дома тоже было невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение и пошутил:

— Что-то наш городской притуманился. Того и гляди: либо нос зачесется, либо в глаза порошинка попадет.

Бабушка, считавшая эту затею с учебой в городе «немысленным делом», воспользовалась случаем напоследок отговорить:

— Легкое ли дело из своего места в чужие люди поехать. Да еще в этакое страховитое! Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только два раза была. Натерпелась страху-то. А тут на-ко что придумали. Десятилетка одного в городе оставить! Наговорил тебе Чернобородый четвергов с неделю. Слушай его! Он хоть и ладный, а все-таки вроде барина. Досуг ему за Егорушкой приглядывать. Да и жена, поди-ко, у него есть. Как еще взглянет?

Видя, что речи остаются без ответа, бабушка переменяла прицел:

— Чего молчишь? Не смеешь против грамотейки своей слова вымолвить? Нашептала она тебе?

Перекоры по поводу моей учебы случалось слышать не раз. Обычно бабушка «страшала»: «заблудится», «стопчут лошадьми», «оголодает», «худому научат». Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на пословицы: «Ученье — свет, неученье — тьма», «Без грамоты, как без свечки в потемках» и так далее.

Несмотря на резкий и откровенный вызов, мама на этот раз смолчала, и от этого ей стало еще тяжелее. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, даже укорил:

— Радоваться надо, а она реветь собралась!

Обратившись к бабушке, попросил:

— Не встревай, мать, в это дело. Сами не железные. Понимаем, сколь сладко одного парнишку из дому отпустить, а надо. Время такое подошло. Без грамоты ходу нет.

Бабушка махнула рукой и, выходя из избы, проворчала:

— Больно умные стали! Своей крови им не жалко!

По уходе бабушки отец примирительно сказал:

— Старый человек — не понимает.

Мама кивнула головой и подтвердила:

— Жалко ей с Егоранькой расстаться.

Мне приятно, что мама не сердится на бабушку. Чтоб закрепить это, добавляю:

— Это она так. Потом перестанет. Как на рождество домой приеду, по-другому заговорит.

Неожиданно вмешивается отец:

— Ты что это, милый сын? Не успел уехать, а о рождестве думаешь! Этак не годится. Коли за дело берешься, так о нем и думай! Тебя, может, не примут вовсе.

Это напоминание встревожило. Представилась картина экзаменов. И вдруг в самом деле не выдержи? Может, не ездить? Бабушка вон как страшно рассказывает. А чугунок поглядеть? Железный круг? Петька что скажет, коли узнает, что струсил? Эта мысль о петькиной насмешке, помню, была последней в решении вопроса. Больше не колебался. Хотелось только уговорить бабушку, чтобы не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу. Отец проговорил вслед:

— Сходи-ко, пошепчись с бабушкой. Надолго ведь разлучиться приводится.

Бабушка оказалась на любимом своем месте, на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня. Крепко прижала к себе и тихонько всхлипнула:

— Ты, Егорушко, не вини меня, старую. Отец с матерью, поди, не худого тебе желают, а только жалко мне, не могу себя сдержать. Вовсе, видно, остарела.

Слова говорились сквозь слезы, но действовали на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало, что мой постоянный ласковый друг — бабушка была против ученья. Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал повторять то, что говорила мама при столкновениях с бабушкой: «Ученье — свет...», «Без грамоты, как без свечки...» И было непривычно, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало ее возражения. Кончилась наша беседа обычно:

— Постой-ко, дитенок, оголодал, поди? Утром заторопился к ребятам, плохо ел, а обед пробежал. Пойдем, покормлю. Оставлено у меня в печке. Похлебаешь горяченького, да и спать. Завтра хоть не рано выезжать, а все лучше вовремя-то выспаться.

Волнения дня закончились крепким ребячьим сном. Проснулся позднее обычного и был огорчен, что отец уже ушел за лошадью.

Хотел бежать вдогонку, но мама удержала:

— Давненько ушел. Того гляди, подъедет.

Так и вышло. Только выбежал на улицу, как мои «заединщики», стоявшие на углу, закричали:

— Едут, едут! Дедушко тоже. Проводить тебя захотел!

Дедушка, как всегда, прищучивает:

— Вовсе сам надумал учиться. С Егоршей поеду. Поглядим еще, кого примут. Забыл вот только, сколь пятаков в девяти гривнах.

— Восемнадцать, — дружно ответили мы всей тройкой.

— Вишь ты! — сделал удивленное лицо дедушка. — А я считал, без гривенника рубль.

Приезд был сразу замечен по всей улице, и вскоре около нашего дома собралась толпа ребят — моей ровни и малышей. Всем интересно было взглянуть как «Егорша поедет». Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальное. Как-никак надо было выехать не хуже

людей, а дедушкин Чалко не отличался честолюбием по части бега, не стремился показывать резвость, да и не по годам ему это было. Даже дедушка, крепко любивший своего старинного друга, не решался приписывать ему беговые качества, называл Чалка «шаговой лошадей». Причем, конечно, давалась сравнительная оценка:

— Которые вон и рысью бегут, да мелко шагают. На то же и выходит. А мой податно идет. Хоть в гору, хоть под гору — ему все едино — на воз не оглянется.

Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору Чалко любил поскакать козлом, а на гору поднимался охотно лишь с разбегу, а дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста «для этакой-то лошади». При таких условиях подумаешь, как быть, а Петька еще наговаривает:

— Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то! Пусть пылью чихнут! Припустишь?

Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда Чалко шел всегда оживленно. Может быть, хоть этим удастся прикрыться, а то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу.

Вторым, не менее трудным вопросом оказалась подушка на кучерском сиденье. Дедушка набил мешок сеном и говорит: «Как раз», а ребята смеяться станут: «Маленький, без мяконького ехать не может». Ожесточенный спор с дедушкой кончился вмешательством отца, который дал спору неожиданный поворот:

— Не бойся, не свернешься с подушки. Тихая лошадь, не разнесет.

Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что Чалко, конечно, шаговая лошадь, но за себя постоит. Я стал доказывать, что нисколечко не боюсь. Отец подтвердил дедушкины слова: «Я и говорю — не разнесет» — и сделал вывод для меня: «Коли не боишься, так и спорить не о чем». Улыбнувшись, добавил: «Дорожные всегда так делают».

Хитрый он. Верно, скажу ребятам: дорожным так полагается. Не поверят, поди? Скажут, что земские ямщики без подушки ездят. Так то ямщики! И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае подушка меня больше не волновала. Зато выезд не шел из ума. Когда садились «перекусить на дорожку», я успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенное Чалку сено: наестся, так и домой не побежит, а ребята скажут: не умею править.

Еда проходила скучно. Даже всегда шутливый дедушка на этот раз наставлял:

— Гляди, Егорша, учись порядком! Слушай, что учителя говорят. Не шали! Наше дело — не барское. С потовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. Ты это помни! Городским тоже не поддавайся.

Бабушка твердила свое:

— Не бегай далеко от места, в каком жить придется.

Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола, снова сели — перед дорогой, перекрестились и стали «выноситься». Гоглевский коробок не отличался отделкой, но был сделан хозяйственно, то есть прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с «подорожниками», мешок с овсом для Чалка, несколько охапок сена «на первый случай» — все это не особенно «стесняло» моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали Чалка, я выбежал на улицу, простился «за ручку» с товарищами и услышал последний наказ:

— Замечай в городе-то, как там. Против Кабацкой-то припусти!

Потом торопливо чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал:

— На спусках покрепче сиди! Упирайся в подножку-то, а то холку набьет.

Наступил ответственный момент выезда. Сиденье казалось высоким, ноги едва доставали подножку. Уселся все-таки по полному правилу, подобрал вожжи. Дедушка распахнул ворота, но Чалко оставался совершенно равнодушен к подхлестыванию вожжами. Как видно, он поджидал, когда усядется его хозяин. Меня уже бросило в краску, но дедушка не спеша подошел к Чалку, ухватил его за ухо и громко сказал:

— Не поеду, дурачок, не поеду. Егоршу слушайся!

И было удивительно, что Чалко, встряхивая ухом, сразу пошел со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорее доберется до дому. Поворот налево ему пришелся по нраву, второй поворот налево побудил к необычайной для него резвости. Мимо своих исконных врагов — ребят Кабацкой улицы — удалось действительно «пропылить». Жаль — видел это один Трошка Складень, который мог лишь бессильно погрозить кулаком.

Ничего, пусть грозит! Своим-то все-таки расскажет, как каменушенские ездят!

Приятная для меня дорога продолжалась недолго. Вскоре желания Чалка и мои резко разошлись: ему хотелось повернуть направо, к дому, а я изо всех

сил тянул левую вожжу. Чалко тогда решил вовсе остановиться и только после того, как к моему понуканью присоединился окрик отца, зашагал дальше, но уже без всякого одушевления.

С этого места мы выехали на Челябинский тракт.

Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, движение по тракту было довольно сильное. Железной дороги тогда на Челябинск не было, и гужевые перевозки имели полную силу. С заводов, начиная с Каслей, весь металл шел к ближайшей тогда железнодорожной станции — в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. Навстречу везли городские товары. То и дело звенели колокольцы. Ехали на парах, на тройках. Земские, запряженные в довольно растрепанные коробки, трусили без всякого блеска. Зато заводские старались «доказать». Особенно запомнилась тройка соловых при самом выезде из завода. Отец неодобрительно пояснил:

— Каслинский барин. Вишь, задается, а у самого все железо и литье заложено. Мастер лошадей загонять. Не лучше наших дураков. В тот раз у него лошади пали на полдороге к Щелкуну. Пешком пришлось шлепать, а нейдет.

Зато Чалко вовсе не желал себя изнурять. У него даже теплилась надежда отделаться от дальней поездки. На повороте к Ильинскому заводу он усиленно потянул опять направо. Когда убедился, что приходится идти дальше, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не оглядываясь больше, пошел «возовым», действительно «податным» шагом. Отец, глядя на попытки Чалка, смеялся:

— До чего изнабужулен, стервец! погоди вот, дотянешь до березнику, пропишу тебе бодрых капель. Вспомнишь, как жеребенком бегал!

По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от возов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону, а от порожняка — как придется. Если у тебя меньше людей, ты сворачиваешь, если у встречных — они. На деле это оказалось утомительно, но я все же справлялся и был очень доволен. Только когда проезжали по деревне Кашиной, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул:

— Держи, держи, не отпускайся!

Это был, конечно, удар по кучерскому самолюбию. И хуже всего: не нашлось ответного слова. В растерянности оглянулся на маму, но она смотрела куда-то в сторону, хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом и даже как будто слышал отцовские слова: «Чуть маму не закричал».

Раздумывать, однако, было недосуг: дорога продолжала ставить новые трудности. Слева уже крикнули:

— Эй, малец! В которую сторону глядишь?

Медлительность Чалка теперь меня не волновала. Пожалуй, и лучше, что не торопится. Легче было пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда Чалко норовил встать в хвост попутного обоза. Отец — по давнему с ним условию, чтобы мне самому до города править, — не вмешивался в мои кучерские права, но все же напомнил:

— Объезжай, милый сын, а то до ночи протянемся. Не с возом мы. Пошевеливай маленько!

Объезд попутных обозов оказался не легким. Тракт не широк, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Кой-где успех зависел от быстроты, а Чалко никак не хотел спешить. Удачнее объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал впросак. Обоз как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги. Чалко, побуждаемый понуканьем, подхлестываньем вожжами, разбежался под угор, но тут от обоза закричали:

— Стой! Не видишь?

Довольно далеко виднелась встречная пара, колокольцев не было слышно, но на черной дуге коренника был прикреплен яркий красный лоскут. Справа и слева верховые с ружьями. Запряжены лошади в какую-то вовсе необыкновенную телегу-ящик. За телегой еще трое верховых, тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут.

Сдержать Чалка под гору мне было не по силе. Вмешался отец. Он так осадил, что старый мерин оглянулся: что это?

Пара поднималась в гору не спеша. Кучер, сидевший на каком-то стуле, пристроенном к ящику, не бултыхался на рытвинах, а мягко покачивался.

— Кыштымские, видно, — пояснил отец, — вишь, динамит везут. Много у них идет. По медному-то руднику. Не как у нас, привезут раз на два года.

— Откуда везут?

— Из города, конечно.

— Там делают?

— Это не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдешься. Никому без разрешения горного начальства не дадут, а оно, начальство-то, в городе.

— А может этот динамит бабахнуть по дороге?

— Где, поди! Он в фунтовых жестяных коробушках. Каждая войлоком замотана, да еще между рядами войлок, и телега на рессорах. Какой может быть удар?

Продолжая мысль, отец добавил:

— Наши вон до чего додумались! В склад в сапогах не допускают. Велят пимы либо плетухи надевать. А так это, для одной видимости, чтоб горной страже дело придумать. Другого боятся.

Тут вмешалась мама:

— Будет тебе набивать парнишке голову чем не надо!

Отец принял совет и с усмешкой спросил меня:

— Слышал, что мать говорит? Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберешь.

Это, разумеется, показалось обидным, но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо, налево, выглядывать прогалы для объезда, дергать, подхлестывать вожжами и покрикивать: «Но-но! Пошевеливайся!»

Сказать по правде, все это порядком прискучило, но нельзя было сдавать, если сам выпросил. Проехали еще только одиннадцать верст. Об этом говорил не только верстовой столб, но и «граневая просека». Здесь, в этой части дачи, кончались владения Сысертского округа, начиналась казенная дача. Отец по этому поводу заметил:

— По другой земле поехали. Тут люди свой хлебушко жуют, не как у нас все с купли.

В посессионной даче Сысертских заводов, где я рос, вовсе не было пахотных наделов. Хлеб на корню мне до этого случалось видеть лишь в деревне Кашиной, которая когда-то была со своими наделами заверстана в заводскую дачу. Были хлебные поля и по другим деревням, приписанным к заводам, но в тех деревнях мне не приходилось бывать.

Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей, и после недолгого совещания они решили ехать стороной — через Шабры и Пантюши.

Мотивировалось это желанием поглядеть нынешние хлеба. Желание было

понятно мне, так как давно слышал немало разговоров о «своем хлебе» и об «уставной грамоте». По этой «уставной» будто бы и нашим заводская земля выйдет. Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводоуправлением перестали этому верить, но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтобы изменить путь:

— Дорога помягче. Крюк небольшой, а ехать спокойнее. Егорше передышку дадим, а то он замотался на тракту-то.

Разумеется, я говорил, что мне вовсе не трудно, что могу ехать по тракту сколько угодно, но втайне желал перемены.

По проселочной дороге ехать оказалось приятнее и много спокойней. После недавних дождей она была «в самый раз»: уже просохла, но еще не сильно пылила. День, с утра казавшийся хмурым, теперь повернул на ведро. Было даже жарко, но все же чувствовалось, что это осень.

Чалко по каким-то своим лошадиным соображениям относился к перемене дороги тоже благожелательно. Без всякой погонялки он затрусил рысцей и удивил отца:

— Смотри-ка ты, разошелся! Эх, Чалко, в руки бы тебя! С хозяином вместе!

Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего милого дедушку, на этот раз заступилась:

— Старики ведь оба.

Отец не соглашался:

— Хоть и старики, да дюжие. Есть с кого спрашивать. У одного руки золотые, у другого ноги не порченые.

Эта часть пути осталась в памяти как самая приятная. Поля, правда, здесь были не особенно обширны, часто перемежались перелесками, но все же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему в первый раз. Рожь уже везде стояла в суслонах, пшеница и овес убраны наполовину. По случаю большого праздника людей не видно, и это мне кажется лучше. Люди не отвлекают внимания от широкой картины однообразных и в то же время очень разных по освещению полей. Это же, видимо, захватило и взрослых. Долго ехали в полном молчании. Первым заговорил отец:

— Овсишки небогатые, а все-таки хорошо. Хоть бы вот такое полечко! Веселей бы жить-то!

Мама согласилась, и беседа у них сразу перешла к уставной грамоте: когда она будет? Пошли слова, которые я не раз слышал:

— Нашли ходатая — дворянина! Он по-дворянски и поступает: с общественников деньги берет, а барину служит.

— Доверились тоже Арсенку! Мужик, дескать, самостоятельный, а есть ли у него на пятак совести? И не скажи! В тот раз мы с Ильехой еле отбились на сходке, как про арсенкину совесть речь завели.

Вспоминая это первое впечатление от хлебных полей, разговор родителей о своем «полечке», постоянные толки об уставной грамоте, задумываешься, в чем же все-таки была тут сила.

Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства заводских рабочих того времени, эта мечта о своем клочке пахотной земли? Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть тень независимости от заводууправления. Может быть, так и было. Но едва ли это было единственным.

Привыкшие по-деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях при ничтожности наделов никакой независимости не получалось. И если рабочие все-таки продолжали упорно, в течение уже трех десятков лет, добиваться пахотных наделов, то здесь, думается, действовала и другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специальности и привычек, «покопаться» весной в земле и что-нибудь посадить. Как видно, двести лет работы в горе, у печей и прокатных станов не погасили более древние навыки народа-хлебороба, который на всем необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага.

Приятная и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт, уже за Арамилью. Началась опять дорожная сутолока, но встречный поток к вечеру заметно убавился. Ехать было не так хлопотливо. Объездной дорогой миновали Новый завод, как тогда звали Нижне-Исетский, в отличие от старого — Верх-Исетска. Отец пренебрежительно махнул рукой в сторону завода:

— Казна — ведро без дна! Сколько ни сыпят, а толку нет. У нас хоть видишь, кого сверх головы кормишь, а у них и этого не разберешь. Чиновник мелконький, а расход большой. Поговаривают, вовсе закрыть завод собираются, а рабочие хлопочут, чтоб им отдали. Своей артелью хотят дело

поднять, как на Абакане, да где, поди! Капиталов нет, подняться нечем. Тем, сказывают, и живут, что город близко. От него и питаются, кто чем умеет.

Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало, зато ближе к городу встречный поток принял вид непрерывной вереницы. Но это уже были не «дорожные», а выехавшие на прогулку. Щегольская запряжка, показательные лошади, нарядные пассажиры, кучера в невиданной мною форме — все это казалось необычным, требующим разъяснения. Отец ответил предположительно:

— Гулянье, видно, какое-то в Мещанском бору. Видишь, туда правятся.

У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать: «Мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, тоже за пределами завода, надо говорить: «Мир на стану», а если просто разговаривают: «Мир в беседе», и так далее. Весь этот ритуал я знал хорошо и дорогой не забывал снимать свою шапку-катанку и говорить нужные слова. Мне отвечали по-честному, без усмешки. При встрече с непрерывной вереницей горожан снятие шапки стало затруднительным, но я все-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали, улыбались, а один какой-то, ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина, с кучером в удивительной форме, закричал:

— Здравствуй, молодец! Поклонись от меня березовому пню да сосновому помелу, а дальше, как придумаешь! — и захохотал.

Обескураженный насмешкой, я обернулся к отцу, а он посмеивался:

— Научил тебя городской, кому кланяться? То-то и есть. Тут, брат, всякому кланяться — шапку скоро сносишь. Да и не стоит, потому — половина жулья. Этот вот, может, на гулянье едет, чтоб кого облапошить. А тоже вырядился! Извозчика легкового нанял. Знай наших!

— Какого извозчика?

— А вон видишь, которые в долгих-то кафтанах да в лаковых шляпах. Их сколько угодно по городу. Кому понадобится, тот и нанимает. За гривенник либо за пятиалтынный и больше, по дальности глядя.

— Хоть кто может нанять? И повезет? В этакое развалюшке?

— Да хоть ты поезжай. Им все равно. Тем кормятся.

— Богатые?

— Вроде нашего брата. На хлеб, на соль добывают, а на приварок как случится.

— А кони вон какие, и развалюшки блестят! Дорого ведь стоят?

— Без этого номера не дадут. В извозчики, значит, не пустят. Есть, конечно, и такие, которые не по одной запряжке содержат. Эти, понятно, наживают, от себя работников нанимают. Извозчищи, выходит, подрядчики. А у работников своего только и видно, что борода да руки.

Выходило вовсе неожиданное. Оказывается, все эти замечательные запряжки — просто извозчики, которых может нанять всякий. И среди них есть совсем бедные люди, на которых все хозяйское. Разберись тут! Во всяком случае интерес к извозчикам потускнел, да и остальной городской люд как-то перестал казаться внушительным.

Приближался город.

С южной стороны он тогда начинался по линии нынешней улицы Фрунзе. Тогда это была еще одинарка, обращенная в сторону просторного выгона с пожелтевшей, пропыленной полянкой.

Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские.

— Посудное заведение тут, — пояснил отец.

Слева к городу вплотную примыкал сосновый бор, такой же, как у нас.

Город удивил своей величиной и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не особенно велико, но тогда это казалось мне огромным. Заметней всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой башкирский малахай, поставленный среди сада.

Над этим куполом поднимался другой, еще более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но все же вполне заметный, — купол мелкой пыли, высоко поднявшейся над всем городом.

Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом, на широкой поляне вилось множество мягких дорожек — выбирай любую! Все эти дорожки сходились к одной улице, и я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был

ясный, тихий, но чувствовался какой-то «смрадный дух». Иногда он становился заметнее, иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила:

— И как там люди живут!

— Это еще что! — отозвался отец. — Вот когда по Полевской дороге поедешь, так нанюхаешься. С непривычки человека стошнить может. Мимо боен-то да салотопок. А живут! Привыкли. Им нипочем, что кишки на дороге валяются. Воронья, видишь, сколько в той стороне кружится, а все из-за неряшества. В других-то местах, говорят, все это подбирают да в дело пускают.

Так вот какой город! Пыли шапка, на подъезде стошнить может, и в людях не разберешься. Думаешь, барин, а вовсе он за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только борода да руки.

Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома на левой стороне улицы длинные коновязи. На крыльце шумливые люди. Сразу видно, кабак. О нем я слышал еще в своем заводе. Там частенько поминались два пункта: «Селетихин трактир» и «Семеновская ловушка». Обыкновенно это связывалось с семейной бедой: «Раздели у Селетихи», «Обдурили у Семенова», «Выманили остатнее», «Угнали лошадь» и т. д. На параллельной Уктусской улице, по которой был выезд на Полевскую дорогу, орудовали два таких же предприятия. В Полевском мне случалось слышать точь-в-точь такие же жалобы, только прославлялись иные имена: харчевня Корякова да «Столярихина ловушка».

Чалко сделал было попытку присоединиться к лошадям, стоявшим у коновязей Селетихина трактира. Мама с отцом перемолвились: «Привычно, знать, место». Вот! Всегда они так! Подсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Все ребята мне завидуют. И Чалко тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит: «Я сразу оглядел бы!» Огляди, попробуй! Вон какой большой город! И мысли окончательно повернулись к городу.

Первый квартал ничем не отличался от нашего заводского. Такие же домишки. Один побольше, другой поменьше. Даже почва такая же, как по нашим улицам: тоже синий ребровик выглядывает. Второй квартал оказался каким-то односторонним. На одной стороне такие же маленькие дома, а на другой — огромный пустырь, огороженный редким реечным забором. Через пустырь, как поднесенный, виден монастырь — с каменной оградой, по-осеннему пестрыми деревьями и сосновой рощей. Над купой церквей и зданий господствует собор. Тот самый, что издали показался мне похожим на

башкирский малахай. Сходство и теперь оставалось, но другого малахая — из городской пыли — уже было не видно: мы в него въехали.

При спуске с горы заметил один старый, вросший в землю дом с сизыми стеклами, на том месте, где теперь живу свыше тридцати лет.

Пренебрежительно оценил:

— Тоже дом! В город поставили! У нас на Пеньковках лучше есть!

Впоследствии узнал, что это была «рабочая изба» в то еще время, когда эта часть города называлась Заимкой и представляла пригород с салотопными, бойней и мыловаренными заводами. Словом, со всем тем, что теперь отодвинуто на Полевскую дорогу и от чего «человека стошнить может».

После спуска с горы собственно и начался город. Здесь уже была замощена средняя часть дороги. Это одинаково не понравилось ни мне, ни Чалку. Гремит, трясет, ногам твердо. Поэтому мы без всякого сговора выбрали мягкую обочину. Пыли тут было уже много.

Особенно удивил меня целый квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект.

Эти каменные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких плит привели в полный восторг.

Вот это город! Это дома! Кто только живет в них?

Как будто в ответ на этот вопрос из ворот дома с круглыми колоннами вылетел рослый вороной жеребец, запряженный в какую-то необыкновенно легонькую «штучку». Кучер тоже в чудной шапке с пером, в плисовом кафтане без рукавов показался мне просто великаном. Сидел он высоко над лошадью. Сиденье экипажа занимал на удивленье толстый человек с обвислыми щеками. Одет он был, по-моему, гораздо хуже кучера.

— Кто это?

— Откуда мне знать. Может, хозяин этого дома. Может, в гости какой приезжал. Много их, таких-то, жируют тут.

— А почему у кучера рукавов нет?

— Для моды, видно.

При выезде на пересекавшую улицу впечатление нового не ослабело. Справа красивый каменный мост с чугунными перилами между каменных столбов, налево прямая широкая улица — Александровский проспект. Он замощен уже

во всю ширину. Это и понятно, так как здесь проходил Сибирский тракт. Движение тут и по вечернему времени было сильное. Стало хлопотливо. Не без моего попустительства Чалко встал в хвост обоза и зашагал не торопясь. Это позволило мне глазеть по сторонам и удивляться.

Отец, не перестававший знакомить меня с городом, указав на мост, проговорил:

— Там вон, за мостом-то, квартал только подняться, и будет Конная площадь, куда лошадей-то приводят.

Мне, разумеется, захотелось сейчас же «хоть одним глазком взглянуть» на эту площадь, но мои родители дружно заговорили, что ехать еще далеко, время к вечеру, заворачиваться на тракту трудно.

Из этого убедительней всего мне показался последний довод. Мама еще тревожилась, застанем ли мы Алчаевского, к которому ехали.

— Сам-то он, конечно, принял бы и все бы разъяснил, а вдруг уехал по участку? Его-то хозяйке какое до нас дело!

Отец не разделял этих опасений.

— Не такой человек. Твердо сказал: «Приезжай в Успенье к вечеру. Обязательно дома буду». Так и сделает.

После этого разговора я все же стал усиленно причмокивать на Чалка. Ему город меньше всех нравился. Шагать по камню, да еще в гору было совсем неприятно. Еле тащил. Отец мне напомнил:

— Егорша, ты где?

Меня тогда занял опять какой-то пустырь. Он тоже тянулся по улице с угла до угла и вглубь не меньше половины квартала. На одном из углов было видно полуразрушенное здание, похожее на склад. Через обветшалый забор, местами совсем свалившийся, видны были два небольших озера. По одной стороне забора ряд старых берез, ближе к озеру плотная группа деревьев более молодого возраста, но садом все-таки это место назвать не приходилось, так как деревья занимали очень небольшую площадь. На вопрос, что это, отец ответил:

— Видишь, пустопись какое-то. Они тут любят такие штуки делать. Захватят место, да и ждут, пока земля подорожает. Тогда продают. Ловкачи ведь! А ты все-таки пошевеливай, пошевеливай! Потом про этот пустырь узнаешь.

Так и вышло. Года через полтора мне пришлось хорошо ознакомиться с этим Верходановским садом, получить не один выговор за плавание на самодельных плотиках по озеркам в весеннюю пору, на них же покататься зимой на коньках, перелазить по старым березам и особенно по молодым липкам. Но это было потом, а пока приходилось подхлестывать Чалка, который все равнодушной и равнодушной становился к поездке. Находил, что давно пора отдохнуть.

С Александровского проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже была замощена, но обочины здесь оставались широкие и вовсе пыльные. Продолжали удивлять пустыри. В квартале справа и слева были заняты домами лишь углы, а вся середина, огороженная тесовым забором в каменных столбах, была под огородами, где росла только капуста. Таких огромных огородов мне еще не случалось видеть. Мама позавидовала:

— Хорошая у матерей капуста, а семена продают худые.

— Ну, так ведь не зря говорят: у монастырок совесть по их одежке — черная, — отозвался отец.

На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.

— Вроде скворечника, — определил отец.

Действительно, дом был какой-то необычайный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: «Екатеринбургское духовное училище». То самое место, куда я ехал учиться.

На противоположной стороне улицы тоже каменное белое здание, более прочно стоявшее на земле, в два этажа, с мезонином, имело надпись: «Екатеринбургское городское училище».

Все это было мне интересно, но стал занимать другой вопрос. Видел монастырь, проезжал мимо архиерейского сада, видел квартал богатых домов, пустыри, монастырские капустники, два училища, а где железо, железный круг, чугунок, гостиный двор, магазины?

Оказалось, к этому лишь подъезжали: мостовая кончилась. Дорога вышла на Хлебный рынок. Там стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном и мучными товарами, тут же раскинуты палатки с продажей яблок. Против Хлебной площади Уктусская улица шла одинарной, по которой виднелось

много вывесок. Одной из первых оказалась та самая лавка, о которой много говорили в нашем заводе. Это был небольшой каменный склад, над которым значилось: «Продажа металлов Сысертских заводов гг. Соломирского и наследников Турчанинова». На дверях более крупно, с расчетом, видимо, на другого читателя: «Железо кровельное, шабальное, шинное, подковное и поделочные обрезки». Через несколько домов такой же склад Кыштымско-Каслинских заводов, с тем же порядком надписей. Сверху подробно название округа с перечнем владельцев, а на дверях: «Сковородки, вьюшки, заслонки, печные дверки». Еще дальше вывеска Сергинско-Уфалейских. Сверху титул, снизу: «Проволока, гвозди».

В этом же квартале еще несколько лавок, где торговали изделиями из железа. Неожиданным показался угловой многооконный дом. На крыше с одной улицы на железных листах было написано выпуклыми, позолоченными буквами: «Продажа соли», а с другой улицы такими же буквами: «Графа Строганова». Такую замечательную вывеску я видел впервые, и она запомнилась навсегда. И теперь, проходя мимо этого домишка, невольно вспоминаешь о ней и удивляешься жалким масштабам прошлого.

Дальше шли мучные ряды. Еще дальше гостинный двор, который назывался «новым», а на углу Уктусской и Главного проспекта старый гостинный двор. Тяжелее сооружение, с навесом на неуклюжих каменных столбах. Торговли уже не было, и оба здания гостиных дворов казались угрюмыми.

Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект — лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями — это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: «Жорж Блок», «Барон де Суконтен», «Швартэ», а сверху какой-то неведомый «Нотариус».

Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посередине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.

В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городской. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути

увидел вывеску: «Продажа металлов... графини Стенбокк-Фермор». Мудреную фамилию запомнил со всей цепкостью ребячьей памяти. О графах и графинях мне случалось читать немало интересных книг. Там графы совершали самые удивительные подвиги, а графини с необыкновенными волосами, лицами, глазами страдали, пока графы окончательно не освобождали их. Здесь, оказывается, граф торгует солью, графиня — железом. Соляной граф, да еще с такой фамилией, как Строганов, укладывался в голове, а графиня — никак. Казалось, что она не сумеет торговать ни подковным железом, ни даже обрезками. Отец был этого же мнения.

— Смотри-ка ты, наши все-таки умнее! На бойком месте торгуют, а эта графиня придумала под самым своим заводом лавку поставить. Кто у ней тут купит?

На выезде из города подивился столбам заставы с орлами наверху. Посмотрел на уходившие вдаль аллеи берез по обеим сторонам Московского тракта и направил Чалка по дороге в Верх-Исетск. Здесь было совсем родное, заводское. Дорога была такой же, как у нас на Вершинки: сделана подрудком и горным песком, дававшими красноватую пыль. Необычным казались лишь пешеходные дорожки справа и слева, тоже обсаженные березами. На середине этой дороги Верх-Исетский госпиталь, белое каменное здание, показавшееся мне тогда очень красивым. Ипподром, который впоследствии доставил мне немало неприятностей, тогда не заметил. Подумал, что это опять какой-то большой пустырь, только обнесенный хорошим забором.

В Верх-Исетске без затруднения отыскали квартиру Алчаевского. Он оказался дома и принял приветливо. Указал, где поставить лошадь, где брать воду, сходил к хозяевам, попросил, чтобы на эту ночь не спускали цепную собаку. Иначе незнакомому человеку нельзя будет выйти ночью к лошадям. Когда все это было устроено, повел нас в квартиру.

Жена Алчаевского, молодая красивая женщина, тоже отнеслась приветливо, но детское чутье подсказало, что делается это в угоду мужу, а своего интереса к нам у ней нет.

Квартира у них, по моей мерке, была огромная: весь верхний этаж да еще кухня в нижнем. А жили только двое вверху и кухарка внизу.

Пока «собирали на стол», Алчаевский увел нас с отцом в свою комнату. Я никогда даже думать не мог, чтоб в одном доме было столько книг. Полный шкаф «за стеклом», полки стоячие, полки висячие и огромный ворох в углу. Книги же лежали на всех столах и даже на некоторых стульях. Кроме книг, было много других занимательных вещей. Волчья шкура, у которой целиком

оставалась голова с оскаленными зубами, — даже страшно немножко. Лосиные рога на стене. Тут же ружье и большой кинжал. Наверно, у Аммалат-бека такой был! На столе какая-то машинка со стеклышками. Как потом узнал, микроскоп. Рядом куски руды, какие-то кости на огромной книжище с застешками. Через открытую дверь в соседней комнате видны две кровати, закрытые чем-то необыкновенно красивым.

Алчаевский, усадив отца около своего стола, открыл большую резную коробку с папиросами:

— Покурим, Василий Данилович.

Отец, всегда куривший махорку из трубки, на этот раз взял «дамскую», и мне это показалось забавным. По-городскому курить стал!

Разговор у них завязался оживленный, но мне он был мало интересен. Опять пошла уставная грамота, уполномоченный Дроздов, ходатай Эйсмонт.

Предоставленный себе, я прохаживался из комнаты в коридор, и мне было видно, что мама передавала хозяйке узорные чулки своей работы и ленту широких кружев, которые я недавно видел на ее коклюшечной подушке. Работа, как видно, понравилась, и мама уже показывала какую-то обвязку. В привычных руках работа шла ловко и быстро, и хозяйка с удивлением отмечала: «Уж больше четверти». Наконец появилась кухарка, которую хозяева звали Парасковьюшкой. Она принесла самовар и разную еду. Появился объемистый графин. Меня все-таки этот стол не интересовал. Чувствовал, что слипаются глаза. Алчаевский пытался тормошить меня, задавал смешные задачи: сколько останется, если из бороды вырвать три волоска, можно ли купить на полтинник три пуда сахара? Но глаза продолжали слипаться.

— Ложись тогда на волка, — решил Алчаевский и принес подушку и покрывашку. Ложиться на волка с оскаленными зубами в других условиях, может быть, показалось бы страшноватым, но теперь это прошло без раздумья. Поспешно разделся и, укладываясь, видел смыкающимися глазами бесформенный туман, в котором потом явственно вырисовались дорога, встречные обозы, шумная тройка. На обочине дороги, на раскинутых цветных одеялах сидела графиня с распущенными волосами и на маленьких золотовесных весах развешивала железо, а кругом люди смеялись: «Не умеет, не умеет!»

На другой день с утра пешком отправились в город. Мои экзамены заняли не очень много времени. За экзаменаторским столом сидели люди в рясах и

необычных сюртуках без переду, но со светлыми пуговицами. Было страшно, но спрашивали все-таки не строго, и было удивительно, что некоторые мальчики путались или вовсе не отвечали.

Мне пришлось написать две фразы «на миры» — «который с точкой, который без точки». В этих грамматических «мирах» я разбирался свободно, доска была свежей покраски, мел хороший, и я не забыл в конце каждой фразы «выкрутить» очень осязательную точку. Со стуком решил задачу. После этого заставили читать, но, по-моему, бестолково: начнешь в одном месте, сейчас же перелистнут: «А ну, тут». Молитвы и заповеди рассыпал горошком, а когда стал разделявать историю какого-то судьи, один из экзаменаторов пошутил:

— Так его! Круши с навесу, чтоб не встал!

Шутка, видимо, хорошо отражала мой ребячий азарт, и все засмеялись. Сидевший посередине инспектор, очевидно, чтоб не смутить новичка, сказал:

— Хорошо. Принят. Завтра приходи на уроки к девяти часам, — и пояснил остальным: — Из светских он. Отец у него простой рабочий.

Инспектор, а не понимает! Какой же простой, коли тятя с Ильей Гордеичем — самолучшие мастера! По всему заводу! А по сварке никто против него не выстоит.

Уходя от стола, слышал, как экзаменатор, пошутивший над моим ребячьим азартом, проговорил:

— То-то и есть. Светские чекалят, а у своих каша во рту застыла. Чуть получше мальчишка, так его либо в гимназию, либо в реальное сдают.

Выбежав в коридор, где толпились родители экзаменуемых, рассказал своим, что говорил инспектор, и склонен был «позадаваться» своим успехом. Отец погладил меня по голове, но повернул разговор в другую сторону.

— Александр Осипыч, конечно, хороший учитель. Ученики у него, небось, не хуже других. Как вот здесь учиться будешь?

Выходило, что я вроде и совсем ни при чем. Это, разумеется, было немного обидно, как и то, что на экзамене не дали договорить до конца. Но что поделаешь? Большие всегда так.

После экзамена хотелось побродить по городу, посмотреть вблизи то, что вчера успел заметить лишь проездом, главное, пробраться к чугунке и железному кругу. Но отцу надо было в тот же день уезжать домой, и он наотрез отказался, даже укорил:

— Что ты, милый сын! Неужели не знаешь, что нам с матерью поторапливаться надо? На один-то день едва подменщика нашел. Время, сам знаешь, осеннее. У всякого по хозяйству дела много. А мне надо еще Евплычевых ребят повидать, да камешок вот велели Мише Поздневу завезти. Знаешь, который на Безносого-то тешет? Хотя на пути он живет, а все время понадобится. Чалка тоже нельзя задерживать. Дедушке надо до ненастья сено с Габеевки выдернуть.

Мне было приятно, что отец по-серьезному говорит мне о своей занятости. Евплычевых «ребят», из которых один — Иван Михайлыч — был уже с седыми висками, я хорошо знал. Терминология камнерезов мне была тоже известна. Я знал, что «тесать на Безносого» значило работать на подрядчика Трапезникова, который занимался памятниками, плитами и другими могильно-каменными изделиями из мрамора; «ворочать на Корявого» значило работать по мрамору же, но на другого подрядчика, который наряду с памятниками занимался продажей бытовых вещей, главным образом умывальников. «Корпеть на Нурова, Лагутяева, Липина» — означало огранку самоцветов и мелкие изделия из цветного камня.

При таком положении мне оставалось только спросить:

— Какой камень?

Отец достал из кармана небольшой кусок сургучной яшмы.

— Вот этот. Чем-то, говорят, он замечателен. А Миша ведь в яшмоделах-то считается на славе. Ему и велели передать.

Осмотрев с видом знатока камень, я признал его стоящим и в то же время вынужден был примириться с мыслью о близкой разлуке со своими родителями.

От училища мы пошли на Щепную площадь, чтоб купить там сундучок. Здесь тогда были лабазы с просторными навесами, под которыми выставлялся такой товар, как телеги, кошевки, санки и горки сундуков. Помню, меня удивило, когда увидел в щепном товаре также зеркала и обои. В одном месте ожесточенно рядились около ямской телеги. У других лабазов народу было не видно. Только ходила группа женщин, «присматривавших горку для невесты».

Мы не задержались на Щепной: цена на маленькие сундучки была определенной, рядиться не приходилось. Купили окованный в полоску зеленый сундучок и двинулись дальше. Шли на этот раз по прямой — к толкучке на Коковинской улице. Там тоже были ряды лавчонок с небольшими навесами, где болталось разноцветное тряпье: пояски, ленточки, платочки.

Здесь выбрали мне картузик: моя шляпа-катанка не подходила для города. А жаль! Хорошая шапочка была. Если ее развернуть до конца, так до плеч закрыться можно. И воду черпать ею можно. Но против покупки картузика не возражал. Еще бы! Было приятно, что продавец говорил мне, примеряя фуражки: «Молодой человек».

Народу на этой площади было гораздо больше, особенно там, где продавали вещи с рук. Площадь эта была маленькая по сравнению со Щепной, которая показалась мне огромной. Дороги, выходившие на эту площадь с трех улиц, сходились в одну «лаженую» около лабазов. Конное движение здесь было сильное, так как тут «спрямлялся» Сибирский тракт. Этим, вероятно, и объяснялось, что именно здесь «на ходу» открыли торговлю колесами, оглоблями, телегами, а потом она захватила и домашние вещи. Этим же, вероятно, объяснялось, что на улицах между нынешними улицами Малышева и Куйбышева, сплошь помещались постоянные дворы. На этих же участках города содержалась ямская гоньба. Самыми заметными из этой ямской группы были двое Субботиных. Были ли они родственниками, или просто однофамильцами — не знаю, но отлично помню, что «сведущие», из таких, которые ныне любят показать свои познания в марках проходящих машин, тогда определяли: «Егора Субботина запряжка», «Степана Субботина кони», «На вольном каком-то пробирается».

Участки улиц с постоянными дворами и ямской гоньбой к концу зимы покрывались таким толстым слоем навоза, с которым мог соперничать разве Хлебный рынок. В весеннее и осеннее ненастье здесь трудно было пройти пешеходу. Хотя Щепная площадь имела явно выраженный скат с запада на восток, она была не проканавлена и местами тоже трудно проходима. На том месте, где теперь приходится северо-западный угол стадиона, бил ключик, а рядом с ним «зыбун», на котором ребята не без удовольствия качались. Иногда зыбун даже оказывался яблоком раздора между отдельными ватагами, хотя оснований для битв и не было: зыбуна на всех хватало.

Проходя первый раз по Щепной площади, я, разумеется, ничего этого не знал и удивлялся жалкому виду Волчьего порядка, который со своими покосившимися домами приходился на заболоченной низине площади.

— Тоже город называется. Дома-то вон как исковеркало!

Отец по этому поводу заметил:

— По-всякому и в городе живут; не думай, что все на рысаках ездят.

Из зданий, выходявших на Щепную площадь, заметил тогда лишь Нуровский приют, двухэтажное каменное здание на том месте, где ныне выстроено здание геологического музея. При доме, как водилось для учреждений такого порядка, была домовая церковушка. Было бы где призреваемым помолиться за «благодетеля».

Мне потом случалось много раз проходить мимо приюта приблизительно в одни и те же часы, и я неизменно слышал одну и ту же песенку:

Клубок катится,
нитка тянется...
Клубок дале, дале,
нитка доле, доле...

Через окно было видно: в большой комнате сидит человек сорок девочек в платьишках серо-грязного цвета, ковыряются над большими полосами белой материи и без конца тянут свою тоскливую песенку. Это запомнилось на всю жизнь, как самое унылое. И хотя я тогда был еще в поре мальчишеского презрения к девчонкам, этих нуровских приюток мне было жаль.

После толкучки наши пути разошлись. Отцу надо, было разыскать «Евплычевых ребят», которые жили на Амуре, через дом от пивной Филитц. Адрес, конечно, не совсем точный, но найти все же можно. Меня удивляло, почему «Евплычевы ребята» живут в таком «худом месте», о котором в заводе говорилось всегда в связи с жульничеством и пьянством: «Обчистили на Амуре», «Пропился на Амуре», «Зачислился в золотую роту на Амуре» и прочее в этом роде.

На мой вопрос, почему Евплычевы живут на Амуре, отец скупно ответил:

— Не то что на Амур, а и в тюрьму люди попадают, да чести не теряют.

Маме хотелось повидать свою «сведенную» сестру, которая была замужем в городе. Мне было известно, что ее муж «сам печатает книги и газеты». Понятно, что такой печатник в моих глазах был много интереснее Евплычевых, и мы с мамой, подхватив сундучок, отправились на Усольцевскую. Адрес был здесь более точный: от Главного, если идти к Верх-Исетску, четвертый дом на правой стороне. На деле и тут оказалась трудность. Путали пустыри, которыми начинался этот участок улицы: считать или не считать их. Я настаивал — считать, но тогда четвертый дом приходился графский. Так и написано было: «Дом графа Ивана Андреевича Толстого». Опять граф! Сколько же их в городе! Этот, впрочем, оказался «вроде при своем деле» — председатель Дворянской опеки.

Хотя звание человека, который сам печатает книги, в моем мнении стояло высоко, все же я не мог допустить мысли, что он живет в графском доме. Следующий дом оказался принадлежавшим наследникам какой-то мещанской вдовы. Во дворе было два флигеля: один двухэтажный, другой хуже нашей бани, как я определил для себя. В нем-то и жили те, кого мы искали. Мне это показалось мало похожим на правду. Еще непонятнее была та кричащая бедность, которую мы увидели внутри хибарки. Изможденная, с лихорадочным блеском в глазах женщина сидела у стола и коротким сапожным ножом резала разноцветную бумагу. На полу двое малышей играли обрезками бумаги, а третий, совсем еще маленький, спал в зыбке. Увидев маму, женщина бросила нож и заплакала:

— Как это ты надоумилась, Татьянушка? Все меня позабыли. Бывают ведь, а никто не заглянет. Погляди-ка, погляди на наше городское житье. А это Егорчик? Какой большой вырос! Учиться привезла? Выучишь вот — станет бедствовать, как мой. Сама-то каково бегаешь? Василий где? К Евплычевым убежал? Не застанет. Никого. Видела я недавно Андрея. У Круковского на заводе пристроился. «Жить бы, — говорит, — можно, да квартира бьет».

Женщина говорила быстро. Задавая вопросы, не ждала ответов, как будто боялась, что не дадут договорить. Мама лишь успела спросить:

— Пьет твой-то?

— То и горе, что не забыл этой повадки. Остепенился маленько, а нет-нет и сорвется. Пора за ум взяться. У меня, поди-ко, их под ногами трое, — указала она на ребят, — да столько же по улицам собак гоняют. А главное, все тут с купли. За балаган этот подавай семь с полтиной на каждый месяц, да еще дрова. Видишь, вон цветочками занимаюсь. Мадаме одной сдаю, а расчет в копейках. Ничего не поделаешь. Пока жива, тянуться надо. Недолго уж. Этих вот только жаль, — показала она на ползунков.

— Не ходят? — тревожно спросила мама.

— Не с чего им ходить, — ответила Варвара и горько расплакалась, прижавшись к маме.

— Чую, недолго протяну, а с ними что? Ивана тоже жалко. Вовсе без меня с пути собьется и ребят загубит.

Мама стала утешать, но чувствовалось, что она сама не верит тому, что говорит. Варвара махнула рукой:

— Ладно, Танюшка, не уговаривай. Сама виновата: захотела городского свету. Насмотрелась досыта. Зря ты своего парнишку привезла в это губительное место.

Этот оборот разговора мне вовсе не нравился, но обижаться на больную не мог. Скорее было страшно, и я был рад, когда уходили из этого несчастного дома. Но страшная картина все же не смогла заслонить удивления, — у печатника не видел ни одной книги. Это продолжало мысль: не разберешь городских. Сами печатают, а книг не имеют!

Когда пришли в Верх-Исетск, отец уже был там.

— Ну, как Варвара?

— Чуть ли не насмерть простились, — ответила мама. — В чем душа держится! А ребята мал мала меньше. Шестеро их! — И мама заплакала.

— Что поделаешь, — угрюмо отозвался отец. — Не одну ее город съел. Тяжело у них. Вон Евплычевы, поглядела бы, где живут. А ведь у Ивана мастерство. Настоящее! Зацепился где-то на мельнице, Андрюха — у Круковского на заводе. Не видал их.

Вскоре прибежал Миша Поздеев. Он каким-то образом узнал о приезде отца и захотел с ним повидаться. Этот Миша оказался плешивым, узкобородым и очень тощим стариком. Камешок он одобрил, но невысоко оценил заказчика:

— Не больно подходит борову пуховая шляпа, да что поделаешь? Придется надеть. Пусть носит. Не хуже он нашего Безносого. Тот вон вовсе в бары лезет. Даже глядеть смешно!

И Поздеев стал рассказывать о своем подрядчике, на которого «тесал, почитай, весь Мраморский завод», да в городе на дополнительных работах «колотилось близко к двум десяткам».

Отцу хотелось перед отъездом поговорить с Алчаевским, но Никиту Савельича с утра вызвали в город, и дома не знали, когда он вернется. Приходилось ехать, не дождавшись его. Мне, конечно, стало жутковато и почему-то особенно жалко было расставаться с Чалком. Мама произвела мне экзамен: как будешь ходить в училище? Ответил: вперед стану «правиться на монастырь», обратно — сперва на коричневую церковь, потом на голубую, которая на Главном проспекте. Это было признано удовлетворительным, и мама попросила кухарку Парасковьюшку:

— Сделай милость, пригляди за нашим-то!

И мне было приятно, когда Парасковьюшка кивала головой и говорила:

— Как без этого! Своих ребят растила, понимаю. Будь в спокойе, догляжу.

Это обещание, помню, успокоило меня больше всего, вероятно потому, что Парасковьюшка ближе других стояла к тому кругу людей, с которыми я разлучался.

Отец при прощании посоветовал:

— Ты, Егорша, в городе-то с оглядкой действуй. На городской штиль живут. Вроде постоянного двора тут у них. Без спросу полешко построгаться не возьмешь. Разговор может выйти. Ты и остерегайся, — и после этого утешил: — По снегу-то мать либо оба приедем. Никита Савельич обещал похлопотать. Может, тебя в общежитие примут.

Дальше оставалось позавидовать Чалку, который с заметным оживлением направился домой.

Знакомство с городом ближе всего было начинать со двора, где пришлось поселиться. Сразу стало видно, что тут не по-нашему живут. У нас обычно двор и семья были одно и то же. Жильцы, то есть кровно не связанные с семьей, были большой редкостью. Кроме того, для меня было привычно, что «всякий житель с какого-нибудь боку к заводу привязан». Тут выходило совсем по-другому. Из шести жильцов нашего дома только один Никита Савельич был связан с заводом, и то не так, как у нас. Он был уездным ветеринаром юго-восточной части. Для дела было бы удобнее жить в городе, но положение уездного требовало жить в уезде. Никита Савельич и выбрал для своего жительства Верх-Исетский завод. Выходило несколько лишних верст пути, но форма была соблюдена.

Из других жильцов двора мне понятен казался лишь беззубый, с выскобленными скулами, но не старый еще человек. Таких я знал среди рабочих спичечной фабрики вблизи Сысерти. Этот работал на спичечной Ворожцова. Каждый праздник, как я потом увидел, он напивался и невнятно шамкал жене:

— Счастье нам, Настюха, что ребята умирают. Куда бы с ними?

Настюха, крупная женщина, «ходившая по стиркам», уговаривала:

— Молчи-ко ты, молчи. Грех такое говорить, — и уводила мужа в малуху под навесом.

Во флигеле окнами на улицу жили «какие-то вроде бар», по фамилии Волокитины. Мой первый руководитель по городской жизни — Парасковьюшка — объяснила их положение не очень вразумительно:

— Заведенье у ней в городу-то. Шляпное. Как-то по-другому она там прозывается. А сам, конечно, при ней за хозяина состоит.

Потом мне удалось увидеть, что изменение фамилии было забавное: «Мадам Хан-Волокитина»; не лучше, чем «Портной Дон-Скутский», имевший свою мастерскую напротив.

Неясным казалось и положение владельцев дома, занимавших нижний этаж. Парасковьюшка об них говорила:

— Известно, хозяева. За порядком глядят. Чтoб скандалу какого промеж жильцов не случилось. Какое еще им дело!

Ближе, знакомее казался чиновник горного ведомства. Ходил он «по-благородному»: «с выбритой чушкой» и «при кукарде», но в такой поношенной одежонке, что сразу напомнил привычных глазу мелких конторских служащих, каких у нас обычно звали «присударями». Жил этот старик в «зауголышке», выходившем одним окном под навес, другим — в огород. Звали его Полиевкт Егорыч, а Парасковьюшка, скорей сожалительно, чем укорительно звала старика «блажным Полухтишком».

Этот зауголышный жилец был вхож к «верхним», то есть к Никите Савельичу. Иной раз приносил выписки из архивных дел, иной раз самые дела. Довольно часто Никита Савельич разговаривал со стариком «с выставкой графина». Хозяйка косилась на обтрепанного посетителя, но он этим ничуть не смущался. Чувствуя здесь заинтересованность в работе, с которой был связан всю жизнь, старик охотно говорил о разных заметных датах и фактах истории горнозаводского Урала.

К этому надо добавить, что старик держался независимо и даже заметно гордился этим.

— Что мне сделают? Коли от места откажут, должны пенсию дать. На хлеб-соль хватит да за стены заплатить, а рыбки на уху себе добуду и грибочков тоже на зиму заготовлю. Проживу лучше лучшего! Разве вот по своему тихому месту тосковать стану.

В числе особенностей Полиевкта Егорыча была привычка звать всех окружающих придуманными им прозвищами. Шумливого, кипучего, всегда чем-нибудь взволнованного Никиту Савельича он звал «Громилом», его жену

— «Чернобровкой», Парасковьюшку — почему-то «неразумной девой», хотя у той были две замужних дочери, меня звал по месту родины — «Сысертским», спичечника — «Федей Стратотерпцем», его жену — «Копровая-Фартовая». У Волокитиных было общее прозвище — «татарские французы из деревни Портомойки».

Был еще жилец, занимавший во флигеле комнату с отдельным ходом. Дома он бывал редко. Об его занятиях Парасковьюшка говорила с определенным недоверием:

— По золотому делу будто бы шнырит.

У Полиевкта Егорыча этому жильцу было подозрительное прозвище — «Нюхач».

Такой пестрый состав жильцов и несвязанность их с заводом не были каким-то исключением. Конечно, в Верх-Исетске того времени можно было найти немало таких, кто еще жил по-заводски — одной семьей в доме, но гораздо чаще были квартиры со многими жильцами. Причем не только по главным улицам, но и по дальним — Ключевским и заречным Опалихам. Как видно, сказывалась жилищная теснота города. Она гнала людей в поисках более дешевой квартиры и особенно дров, с которыми в Верх-Исетске было значительно легче. Там можно было купить из запасов местных жителей, а перевозка этих же дров в город преследовалась.

Только у жильцов флигеля в семье был мальчик, близкий мне по возрасту, — Ваня Волокитин. Он учился в третьем классе гимназии. По утрам мы вместе отправлялись на уроки, и он тоже оказался одним из руководителей первых шагов моей городской жизни. Мальчик был не по годам высокий, но какой-то необыкновенно тощий, — того и гляди переломится. Ко мне он, как и полагается для этого возраста, относился покровительственно, не забывая на каждом шагу подчеркнуть, что городские во всяком деле ловчее заводских. Не прочь был кой-что и преувеличить. Помню, на мое удивление по поводу графов и графинь он отозвался:

— Тут не то, что графов да баронов, а и князей живет сколько хочешь.

При всем моем уважении к его познаниям в городской жизни я все же высказал недоверие. На следующий же день Ваня завел меня во двор дома на углу Главного проспекта и Московской. На наружной доске значилось, что дом принадлежит «купеческому брату», а на парадном была медная доска с именем князя Гагарина. На мое недоумение «князь, а в чужом доме живет» Ваня объяснил:

— Разные князья бывают. Один вон в Верх-Исетской конторе служит.

Через несколько дней показал на улице на прохожего:

— Вон князь Солнцев, который в конторе служит.

Поверил этому только после того, как получил подтверждение от Никиты Савельича:

— Есть какой-то захудалый князек, а фамилия ему Солнцев.

На этом мой интерес к титулованным жителям города прекратился. Даже поддразнивал Ваню:

— Говорил: сколько хочешь, а показал двоих, да и то завалящих!

Глазеть на пути в училище было опасно: легко можно запоздать к урокам — зато на обратном пути было раздолье. Уроки кончались около двух часов, а обед у Алчаевских был поздний: не раньше пяти-шести часов. Никита Савельич сам смолodu был учителем и держался системы «свободного воспитания». Против моего шатания по городу, как это называла его жена, не возражал, ограничивал только одним условием «к обеду не запаздывать».

Таким образом, ежедневно в моем распоряжении было по три часа для прогулки по городу, и мне это долго не надоедало. Интересовало буквально все, начиная с вывесок на домах. Вместо привычных для меня пожарных знаков: ведра, багор, кадь, топор — здесь на воротах каждого дома была подробная и всегда четкая надпись о принадлежности. Чаще всего в этих надписях упоминались мещане, разные советники и купцы. Иногда какие-то потомственные граждане, купеческие братья, даже купеческие племянники. Ближе к окраинам и по «забегаловкам» на воротных вывесках чаще упоминались отставные мастеровые, «мастерские вдовы», унтершихмейстеры, солдатские дети, даже какой-то урочник. Если к этому добавить, что на досках довольно часто отмечались географические детали: тобольского купца, елабужского мещанина и так далее, — то станет понятно, что такая пестрота немало удивляла меня, привыкшего думать, что все служащие и рабочие завода одинаково считаются крестьянами Сысертской волости и завода.

В первый же день после уроков я сбегал на Конную площадь, но она в эти часы была пустынна. На пространстве свыше двадцати десятин оказалась лишь маленькая группа людей у вozовых весов, где торговали сеном. Около выходивших на эту площадь воинских казарм тоже народу не было: ученье уже кончилось. Хлебный рынок с его постоянной сутолокой и шумными обжорными рядами был куда интереснее, но здесь задерживаться было

небезопасно. Училищное начальство не разделяло мнения о «свободном воспитании» и в первый же день учебы усиленно внушало приходящим, что «бесцельное шатание по городу, а особенно по Толкучему и Хлебному рынкам, будет строго наказываться». Была и другая опасность: на Хлебном легче всего было сбежаться с «городчиками», с которыми «духовники» находились в состоянии постоянной войны.

Это, впрочем, не особенно огорчало, так как оставалось еще много не менее занятого. Надо было постоять у часового магазина, где в одном окне видна была качающаяся на маленьких качелях девочка, а в другом китаец, отсчитывавший секунды покачиванием головы. Привлекал шум Главной торговой площади, особенно ряды палаток с фруктами, которых до того почти не видел. Занимательным казался старый гостиный двор скорей своей угрюмостью и старомодностью. Новый гостиный (сохранившийся до наших дней) был много веселее, и торговля здесь шла бойко.

Самым интересным считал витрины меховых магазинов, где были выставлены чучела зверей. Кроме родного топтыгина, волков, лисиц, барсуков, здесь можно было видеть и «читанных» зверей: льва, тигра, пантеру, ягуара. Понятно, что мимо таких окон нельзя было пройти без получасовой остановки. Надо было все заметить, чтоб потом рассказать своим заводским товарищам во всех подробностях.

Сильно интересовала также толкучка внутри квадрата, образуемого старым гостиным двором, собственно не самая толкучка, а стоявшее в центре квадрата небольшое здание вроде часовенки, с необыкновенно толстыми каменными стенами и тяжелыми ставнями. Здесь торговали золотом и драгоценностями. Так по крайней мере объявлялось на вывеске. В действительности это были, вероятно, «новое золото» и «стеклянные драгоценности», но тогда воспринималось всерьез. Ребята относились к этой лавочке с особым почтением, нередко обсуждая вопрос, «могут ли воры добиться при таких толстых ставнях и стенах». Воры, видимо, не соблазнялись драгоценностями толкучки и много теряли в глазах ребят. Зато сильно вырастал авторитет железных ставней и толстых стен, к которым ребячья фантазия добавляла внутреннюю прокладку из «толстенных чугунных плит» и даже подземные ходы и склады.

Посмотреть «чугунку» и «железный круг» оказалось не просто: мешало расстояние. Первый опыт не удался. Как будто пробыл у вокзала недолго, успел увидеть лишь один проходивший товарный поезд, несмело заглянул в здание вокзала, подивился буфету, около которого толпились люди, никуда, видимо, не ехавшие, — и уже стало близко к вечеру. Прямой дороги в

Верх-Исетск не знал. Пошел, как всегда, «на голубую церковь» и заметно опоздал.

Никита Савельич был дома. Он пожурил за опоздание, но к «побродимству» отнесся снисходительно, зато Софья Викентьевна приняла это, как «ужас что такое».

— А потеряется? Попадет под поезд? Кому отвечать придется?

Словом, не так просто, как Петька думал. Хвастун!

Кончился этот первый опыт ознакомления с железной дорогой все же благоприятно. Когда Парасковьюшка тоже с наставительными разговорами кормила меня в кухне, Никита Савельич позвал:

— Егорка! Иди-ка сюда!

Поднялся и услышал:

— Ну, вот что. Даешь обещание не бродить до такой поры по городу?

Пришлось, разумеется, пообещать, а взамен получил тоже обещание:

— В воскресенье поеду в Невьянск. Возьму тебя с собой до вокзала. Там все посмотришь.

Хотя «железный круг» нестерпимо тянул, пришлось это отложить. Он был еще дальше, у грузового вокзала, или как он тогда назывался «Второго Екатеринбурга». Все эти дни приходил домой рано, вызывая удивление: уже пришел?

Добродетель была вознаграждена: Никита Савельич в воскресенье объявил:

— Поедем пораньше, чтоб при мне все успеть осмотреть.

Обычно он ездил «на земских». Мне уже не раз случалось бегать в город с «требовательной запиской». Там, во втором квартале, помещалась земская гоньба. Никита Савельич, веселый, широкодушный, тороватый человек, был любимцем ямского двора. Звали там Никиту Савельича, как и в Сысерти, Чернобородым, наперебой старались «заложить ему получше и поскорее», и я с наслаждением мотался в просторном парном коробке на обратном пути. На этот раз поездка была по собственному делу, и мне пришлось сбегать за извозчиком, который жил через дом от нас. Впервые ехал на блестящей развалюшке, так удивившей меня при въезде в город, а теперь удивлялся, что важно одетый бородатый кучер говорил тонким голосом и по-смешному: «черква», «улича», «цо ино».

Ехали на этот раз не через плотину, а вдоль Северной улицы, по Кривцовскому мосту. Пустыри в этой части города были особенно заметны и не переставали меня интересовать. Жалуются, что квартиры дороги, а незастроенных мест много. Даже знал, кому принадлежат отдельные пустыри. Знал, что первый пустырь по Главному проспекту числился за гражданским инженером Козловым, Покровский проспект (ныне Малышева) начинался пустырем Скавронских. На мой вопрос об обилии пустырей и площадей Никита Савельич сказал:

— Городские наши заправилы эти пустыри любят и другим потакают. За пустыри, видишь, налог берут копейками, а земля в нашем городе дорожает сотнями рублей в год. Ловкачи и греют руки. Спроси-ка вон у того гражданского инженера, сколько он просит за место, так он заворотит несколько тысяч, а сам за все годы, наверно, и сотни рублей налогу не заплатил. У городских-то заправил у каждого свой земельный запасец есть, они и помалкивают либо прикидываются, что не понимают того, что малому ребенку видно. А площади, они, брат, — другое. Городу площади нужны, особенно Конная. У нас никто этого не подсчитал, а только большое дело для города эта площадь сделала. Чуть не всю степь приучила свои табуны сюда сгонять. В наш город, если присмотреться, со всех заводов за лошадьми собираются. И ведь каждый что-нибудь с собой на продажу привезет. Степняки от нас тоже не пустыми уезжают. Заметь, в дороге они ничего не продают и не покупают, а все здесь в железном городе. Глядишь, от этой ярмарки городу немало остается. Одних подков сколько расходуется. Недаром у нас Кузнечная улица есть. Почему так много кузнецов? Подкову на продажу делают из заводского брака. По другим заводам многие этим промышляют, а продают тоже здесь.

Это было мне понятно, и я поспешил подтвердить:

— У меня крёстный тоже подковы Федорову да Выборову сдает. Решеток сто за год.

— Вот видишь, а через Федоровых да Выборовых подковы далеко уходят. То же и с каслинским литьем. Мимо завода проезжают, а покупают котлы и кунганы здесь, в нашем городе.

Это рассуждение запомнилось надолго, и впоследствии мне казалось непонятным, почему те, кто занимался экономикой города, как-то совсем не хотели замечать такой фактор, как конская ярмарка. На глаз это казалось огромным. На двадцати гектарах площади было во время ярмарки тесно. Удивительно, как в этой тесноте ухитрялись пробовать коней, до того не

знавших узды. «Цыганская красота» из начищенных с прикудрявленными гривами конских инвалидов была просто жалкой против полудиких коньков. Этих свеженьких разбирали без опасения, что тут может быть какая-нибудь фальшь. Все знали, что объезжать новокупок трудно, но это не останавливало. Торг шел бойко под лозунгом «какая издастся».

На вокзале на этот раз мог посмотреть все: от прихода до отхода пассажирского поезда. Поглазел на бородатого железнодорожного жандарма, перечитал все объявления на стенах и даже выпил стакан «вокзального» чаю. Запомнились большие листы объявлений с подробным перечислением оставленных вещей. О каждой рассказывалось, что за вещь и где оставлена:

«Перчатки лайковые, поношенные, — в вагоне 1-го класса».

«Галоши старые, худые и тут же голицы, не ношенные — в вагоне третьего класса».

«Платок пуховый ношенный — в вагоне второго класса».

«Кадь на десять ведер — у багажной кассы».

Такие объявления, да еще с печатанием их в газете, конечно, говорили о том, что движение пассажирское тогда было очень слабое. За сутки проходило лишь два пассажирских поезда: в час дня уходил на Пермь, в три часа — на Тюмень. Составы были невелики, но места любого класса имелись с избытком. Некоторое подобие очередей перед отходом поезда было лишь у кассы третьего класса.

Вскоре удалось повидать «железный круг», и тоже с Никитой Савельичем. При удивительно сухой осени того года никакой «топеси» там не оказалось, но дикий «конобой» был налицо. Сопровождался он обильной матерщиной и частым рукоприкладством. Трудность сдачи усиливалась тем, что одни сорта железа принимались «на вагон», другие — «на склад». Это не было заранее известно сдатчикам и создавало дополнительную трудность. Вполне понятно, почему «железный круг» считался «самым худым местом».

В следующее после поездки на вокзал воскресенье мне удалось побывать за городом. Эта памятная прогулка началась тоже с неприятности.

Мой верх-исетский приятель Ваня Волокитин, как уже я говорил, не отличался крепким здоровьем. Поэтому, может быть, он и не знал никаких игр и развлечений, кроме комнатных. Мне и захотелось немного просветить его по этой части. В огороде в то время как раз убрали все овощи, кроме капусты. По нашим заводским обычаям, наступила пора прыгать с бань на мягкую

огородную землю. Вот я и показал пример. Развлечение это у нас дома считалось законным, взрослые «не ругались», поэтому я действовал не таясь и в конце концов соблазнил Ваню. Ему было честно сказано: «Скакать на ноги, а не валиться как попало», — но он, как видно, струсил в последний момент и именно «свалился как попало». В результате ушиб колено и «запел». Прибежала его мамаша — «татарская французинка» — и подняла шум. На мою беду Никиты Савельича дома не было. Вышла Софья Викентьевна и, узнав, в чем дело, сама пришла в ужас. Пришлось мне выслушать немало обидных слов, и потом, уже в комнате, битый час мне рассказывались страшные истории о случаях падений.

Понятно, что после этого меня не радовало прекрасное утро следующего дня. Сидел во дворе нахохлившись, ковырял стену и ворчал на своего приятеля:

— Долган такой! А скакнуть не умеет. Сам еще хвалился: «Наши городские всегда ловчее!» Вот тебе и ловчее! Да еще запел: «Ой, нога! Ой, нога!» Кисляк!

В это время из-за угольника вышел Полиевкт Егорыч и первым делом спросил:

— Ну что, Сысертский, накормили тебя вчера кислым?

Не получив ответа, старик усмехнулся:

— А ты не сердись. То ли еще на веку будет. На всякий пустяк сердиться — духу не хватит. Видел и слышал я. Подвел тебя Хлипачок. А Чернобровка, видать, не больно любит чужих ребят. У баб ведь не как у мужиков. Которая со своими мается, та и чужих любит, а у которой нет, та и чужих побаивается и не любит. Где у тебя Громило-то гуляет?

— В Сарапулку на эпизоотию уехал.

Слово «эпизоотия» было первым усвоенным в городе новым словом. И мне нравилось его произносить: эпи-зо-о-тия. Полиевкт Егорыч, видимо, заметил это, улыбнулся и продолжал расспрашивать:

— Когда вернется?

— Говорил, не меньше недели проедет. В четверг, стало быть, дома будет.

— Дельце ему нашел одно. Любопытное. Надо бы на месте ту запись проверить. Пойдем со мной, чем тут киснуть да стену колупать. Опяток наберем, по лесу побродим, а?

Заметив, что я поглядел на окна верхнего этажа, старик сделал вывод:

— Спит еще Чернобровка? Ну, ничего, без нее обойдемся. Неразумную деву обломаю, — отпустит.

Полиевкт Егорыч отправился в кухню и вскоре вынес оттуда корзинку с хлебом и кружкой. Из окна я услышал ласковое напутствие:

— Сходи, разгуляйся после вчерашнего-то.

Полиевкт Егорыч сходил в свой зауглышек и вышел в полном лесном снаряжении: в парусиновом балахоне, рыжих сапогах и в войлочной шляпе. В одной руке большая корзина, закрытая сверху мешком, в другой — чайник.

Отправились через Никольский мост и потом повернули вправо по последней Опалихе. С этих мест мне не приходилось видеть город, и картина была новой, интересной. Отсюда особенно заметной казалась широкая полоса разрыва между городом и Верх-Исетском.

— Вот она, богова земляца, — кивнул старик в сторону этой по-осеннему пожелтевшей полосы. — Десятин, поди, полтыщи впусе лежит, хозяина ждет. А пока только арестантам да покойникам помещенье. Ну, лошадам пробежка да больных малость пускают.

Здесь, действительно, тогда было лишь четыре сооружения: обнесенный тесовым забором круг ипподрома, белое здание госпиталя, который содержался уездным земством и верх-исетским заводоуправлением, поэтому и помещался между городом и заводом, дальше виднелись тюрьма и кладбищенская церковь с обширной каменной оградой.

Красивым пятном осенних красок выделялась генеральская дача. Основинские прудки и Вознесенская гора с большими садами на спусках около харитоновского и турчаниновского домов. На фоне других домов внушительным и заметным казалось здание городской больницы. Но больше всего меня опять занимал вокзал и железнодорожные здания. Полиевкт Егорыч и сам не прочь был тут постоять.

— Да, браток, важная это штука! Теперь народ попривык маленько, а сперва-то со всего городу сбегались к приходу поезда, — и неожиданно спросил: — Тебе сколько годов-то?

— Десять.

— Ровесник, значить, первой дороге. Первой по здешним местам! А там, гляди, еще проведут при твоей бытности. В газетах вон уже поговаривают —

ветку будут тянуть на Челябинск. Тогда на колесе-то можно будет до самого Питера докатить.

Долго стоять здесь все-таки Полиевкт Егорыч был не склонен и решительно предложил:

— Пошли дальше!

Лес был привычного для меня вида, только не такой подбористый, как на наших Сысертских горках.

— Невысокое место — мендач и растет, а дальше тоже смолевая сосна пойдет, — ответил на мое замечание старик.

На лесных полянках попадались кольца поздних рыжиков, по вырубкам, около пней, было много опят, но Полиевкт Егорыч не особенно увлекался сбором и все шагал дальше в одном направлении. Так выбрались мы к небольшому круглому лесному озерку, с одной стороны которого был замечен исток речки.

— Тут посидим, поедим, про старину поговорим, — объявил Полиевкт Егорыч.

Однако на вопрос, что за озеро, ответил:

— Погоди! Об этом разговор потом будет. Принеси-ка чайничек воды, а я костерок запалю.

Пока шла подготовка к еде, Полиевкт Егорыч не один раз отходил от костра и топтался на берегу озера. Идет мерным шагом, потом вдруг начнет притоптывать, как будто пробует прочность почвы под ногой.

Вскипятив воду, принялись за еду.

У старика в корзине оказалась небольшая фляжка с занятой пробкой-чепарушкой. Полиевкт Егорыч с заметным удовольствием опрокинул несколько чепарушек, похвалил лесную еду и, принявшись за чай, разговорился:

— Думаешь, озеро это?

— А как?

— Озером считают. Шувакиш называется. А на деле тут запруда была. На этом самом месте, на котором сидим. Не веришь? А гляди, по уклону-то куда ложок пошел? В эту сторону? И дальше такой же уклон. Верно? А вот взлобочек откуда выбежал? Вот то-то! В документе не зря обозначено: «Плотина вдоль пятнадцать сажен, поперек — шесть сажен». Тут завод стоял. Понимаешь, —

завод! Конечно, не на нынешнюю статью. А все-таки четыре больших молота считалось. Горны тоже. Железо тогда, известно, по-сыродутному добывали, — сразу же из руды. Стоянка тоже была. Избы, амбары и все, что при таком деле полагается.

Заметив явное недоверие с моей стороны, Полиевкт Егорыч наставительно проговорил:

— А ты не сомневайся, Сысертский. Давнее дело. Близко двухсот лет с той поры прошло. Нашего города и в помине не было, и других заводов по нашим местам не значилось. Лесу за столько годов много нарастет, а вода — дай ей волю, — что хочешь замочет. То и кажется, что никто здесь не жила, а по документу на другое выходит. Были тут люди, да еще какие люди!

Первый заводчик назывался Ларион Игнатьев. Он из небогатых, видать. Руду нашел, а обзаводиться стал на чужие деньги — московского купца Болотова. Потом этот купец прижал Лариона. Завод на себя перевел, а этого перводобытчика с женой и ребятами за долг «взавив взял». Закрепостил, значить. Потом этого первого заводчика убил неведомо кто, а его баба за арамилевского заводчика вышла, и завод, хоть он числился за московским купцом, передала арамилевским же: Чебыкину да Чусовитину. Эти года два поработали. На них башкиры набег сделали. Чуть не всех перебили, а лошадей и скот к себе угнали. Начисто разорили, а все-таки нашелся охотник — нижегородец какой-то Масляница. Этого опять беглые уколошили. Тогда вот только этот Шувакинский завод в казенные книги и попал. По приказу сибирского губернатора, этот выморочный завод был продан тулякам-рудоплавильщикам Мигналеву да Ермолову за пятьдесят один рубль. Только, видно, у этих рудоплавильщиков поднять завод силы не хватило. Так дело и заглохло.

Когда возвращались домой, старик был занят все той же мыслью:

— Ох, и твердый у нас народушко! Ох, и твердый! К чему прильнет, никак его не оторвешь и ничем не испугаешь. Возьми хоть этого Игнатьева, которого купец «взавив взял» за долги. Думаешь, нельзя было ему уйти из такого глухого места? Да сделай милость, в любую сторону. А он, небось, до конца сидел, потому своего добиться хотел. Прямо сказать, въедливый народ. И терпеливый тож. Развяжи-ка такому руки, так он тебе на этом же месте такое сгрохает, что по всему миру отдачу даст. Ты это попомни, Сысертский! Не зря тебе сказывал, а по документу.

Вскоре после похода с Полиевктом Егорычем я нашел в Верх-Исетске своего настоящего друга. Встреча вышла случайной, и потом мы оба удивлялись, почему не знали друг друга раньше, хотя жили буквально через дом.

Занятия в училище кончались, как я уже говорил, без четверти два, но я все еще не переставал удивляться «чудесам города», застаивался подолгу около разных магазинов. Тогда меня еще сильно занимал «фруктовый базар».

Те несколько палаток, в которых торговали яблоками, теперь развернулись в целый ряд на Хлебном рынке, ближе к Сибирскому проспекту (ныне улица Куйбышева). Из наклонно поставленных коробьев видны были яблоки разных сортов, на полках вдоль стенок палатки рядами разложены дыни, за прилавком, под рукой у торговца, — в пробковой прокладке виноград. Тут же в корзинах вишни, сливы. Отдельными соблазнительными грудями лежали арбузы разной величины и окраски. От всего этого приятно пахло.

Соблазн увеличивался еще тем, что продавцы, преимущественно казанские татары, как я узнал потом, раскладывали на прилавках «пробу» — куски разрезанного арбуза, дыни, груши — и усердно нахваливали свой товар:

— Арбуз астраханский! Чисты сахар! Дыня дубовка! Лучше быть нельзя! Купишь — спасибо гаваришь. Вот пробуй! Две копейки кусок!

Мне, никогда не выдававшему раньше такого обилия фруктов, большая часть которых и вообще была мне неизвестна, все это казалось интересным, но меня удивляло, что взрослые равнодушно проходили мимо и на зазывы продавцов иногда сумрачно отвечали:

— Не от смерти отъедаться твоими дынями! Копеек-то нет, чтобы их за глоток выбрасывать!

Некоторое оживление было лишь около арбузов. Они продавались поштучно, и цена объявлялась на-глазок. Эту произвольность расценки продавец объяснял просто: не тот сорт.

«Фруктовые базары» открыли мне еще один уголок городской жизни.

Проходя по нынешней улице «8-го марта», я и раньше замечал, что из-за «коричневой церкви» несли «разную огородину». Теперь здесь стало многолюдно. За церковью до моста с поворотом к богадельне раскинулась торговля овощами из мелких палаток и «с телег».

В условиях своего завода я привык, что у каждого свой огород, свои овощи. Не было у редких — у квартирантов, которые не имели огородов. Обилие людей,

покупавших на «зеленом базаре» картошку, капусту и другие овощи, удивляло меня: «Как много в городе квартирантов, и все они, судя по одежде, не из бедных!»

Иная барыня покупала капусту целой телегой. Куда ей столько? Другой барыне поставили мешок картошки в извозчичью пролетку-развалюшку, а на откинутый верх набросали капусты. Разве можно в такой лаковой штуке возить картошку? Придумала тоже!

Все эти наблюдения над удивительной жизнью города занимали ежедневно часа два, и в Верх-Исетск я обычно приходил в пятом часу. Раз так добрался до Разъезжей улицы, которую уж стал называть своей. У домика на углу первого переулка стояли трое ребят. Двое совсем одинакового роста, а третий поменьше. Все трое усердно «пушат» камнями в рыжего мальчика, а тот, что поменьше, кричит:

Мишка Рыжак проглотил пятак,
Сел на семишник, поехал на девишник!

Понятно, что человек, обвиняемый в столь диких поступках, должен был защищаться, и рыжий мальчик стойко боролся против своих врагов. Ловко увертываясь от летевших камней, он кидал ответные и каждый раз приговаривал:

— Получай, стервы!

Было видно, что рыжий не нагибался, не искал камней: имел достаточный запас в карманах. Такая «хозяйственность» мне понравилась, но позиция у него была из рук вон плоха. Он стоял на открытом месте, а его враги расположились против окон дома. Рыжему приходилось бить по ногам, так как всякому известно, что «залепить камнем в лоб» гораздо менее ответственно, чем разбить стекло. Стойкость Рыжака и подлый прием его врагов, укрывшихся под защитой окон, естественно, располагали меня в пользу одиночного бойца, но я все-таки вовсе не думал принимать участия в этом столкновении, чувствовал себя «проходящим» и попросил:

— Эй, погодите фуряться, дайте пройти!

В ответ получил насмешку:

— Фуряться! Из какой деревни выехал! Говорить не научился, а тоже с книжками ходит!

Мальчик, поменьше ростом, заболтал:

— Фурялка, нырялка, наскочил на палку!

После такого незаслуженного оскорбления мне оставалось только присоединиться к Рыжему. Запас камней в карманах у меня тоже на всякий случай имелся, но я решил применить против «подокошечников» испытанный контрприем: засунув книжки за пояс, ухватил увесистый камень с дороги и что было силы «бабахнул» в ворота. Отдача получилась обычная: из калитки выбежал представитель больших. Это оказалась высокая костлявая старуха. Ребята побольше, не желая, видимо, попасть под руку при разборе дела, кинулись в переулочек, а маленький остался, будто его это не касалось. Мы со своим союзником отбежали на некоторое расстояние и остановились до выяснения вопроса. Старуха первым делом закричала на Мишу:

— Ты что, ресторан, делаешь?

— Своих сперва уйми! — ответил мой союзник и добавил: — Проходу людям не дают! Мальчик вон идет из школы, никого не задевает, а они давай в него камнями кидаться. Я и бухнул в ворота, чтобы ты вышла.

— Я тебе покажу бухать! — погрозила старуха.

А маленький закричал:

— Врет он, рыжа кожа! Это он Васю нашего избил! Синяков ему, помнишь, насадил? За четвертым переулком живут. Еремеев ему фамилия.

— Да знаю я, — отозвалась старуха. — А этот чей? — указала она на меня.

— Приезжий какой-то. С гимназистом каждое утро мимо ходит. Учится, видно. Видишь — без обеда оставили: этак поздно домой идет.

Такая клевета требовала немедленного вмешательства, но я смолчал, ожидая, как кончится дело о моей полной непричастности. Когда Миша объявил, что это он бросил камнем в ворота, я подумал: «Вот настоящий товарищ! Не выдаст. С таким бы дружить!» Наш враг поспешил выяснить и этот вопрос:

— Это он, бабушка, камнем-то в ворота присадил!

— А тот говорит — я, — удивилась старуха. — Разбери вас.

Почувствовав колебание старухи, наш враг попытался спасти положение. Указав на след камня на полотнище ворот, он проговорил:

— Гляди, вмятина какая! Папаня приедет, заругается!

Упоминание о «папане» повернуло мысли старухи в невыгодную для наших врагов сторону.

— То-то, папаня! А почему Васька с Димкой убежали? Придут домой, задам им жару! А отец приедет, и ты от плетки не уйдешь! Дня не проходит, чтоб у нашего дома драки не завелось!

Видя, что разбор пошел по семейной линии, мы с Мишей спокойно отправились своей дорогой. Старуха, однако, крикнула нам вдогонку:

— Еще раз увижу у своего дома, я вам покажу! В полицию заявлю, чтоб сократили таких мошенников! Знаю, где оба живете!

Старуха, конечно, приврала, что знает и мою квартиру, но на это не стоило обращать внимания, и мы занялись своим разговором. Миша пожаловался:

— Первые задиры — это бревновские ребята. Спускай им! Одного я поколотил, а которого — не знаю. Они ведь двояшки, а третий вроде дурака. Только и умеет всклад слова подбирать, а из школы выгнали. Он годами-то большой, только ростом маленький. Урод, известно, а злой. Это он тех и подтравливает, чтоб драться.

— Ты за что этому бревновскому парнишке наподдавал?

— Задавался перед ребятами, что они богатые. Отец у них рыбой да орехом по зимам торгует. Теперь его нет. Где-то по далеким местам ездит, тамошних людей обдувает. Купит у них за пятак, а в городе за рубль продает.

Закончив характеристику вражеского дома, Миша спросил:

— Ты где учишься?

— В духовном.

— В попы метишь? — удивился Миша. — Кутейка, балалайка, соломенная струна? Ныне, присно и во веки веков?

Я поспешил отвести обидное предположение:

— Никита Савельич этак же учился, а ветеринарным врачом служит.

— Ты у него живешь?

— Ага.

— Тоже коров лечить станешь?

И это предположение не показалось мне привлекательным, и я сослался на другой пример:

— У нас на заводе учитель. Так вот учился — сперва в духовном, потом в семинарии. И в Кашиной учитель тоже из семинаристов, только он в попы собирается.

— Вот видишь, — наставительно проговорил Миша, — свяжись с ними, прилипнет.

Я стал уверять, что «ко мне не прилипнет», что «у нас и в роду такого не бывало».

— Отец-то у тебя кем?

— Мастером на сварке. В Сысертском заводе.

— А у меня на мартене. Родня вроде. Дружить можно, а только почему тебя в духовное отдали?

— Дешевле тут приезжему содержаться. Общежитие вон скоро откроют. Меньше десяти рублей в месяц. И формы не надо. Она, поди-ка, дорогая.

Эти доводы показались Мише убедительными, но он все-таки пожалел:

— Лучше бы ты в нашем втором городском учился. Вместе бы ходили мимо бревновских ребят. А здорово ты саданул в ворота! Приедет Бревнов, так он выпорот Игошку. Это уроды-то. Страсть бьет его, когда пьяный! Соседи, случалось, отнимали. Жалеют Игошку по сиротству. А сам-то Бревнов — зверь зверем. Говорят, купца по рыбному делу убил. То и разбогател.

— Ты откуда знаешь?

— По одной улице живем. Сказывают.

Это было мне знакомо. У нас тоже каждый знал всю подноготную жителей своей улицы, но здесь с этим пришлось встретиться впервые. Поэтому даже спросил:

— Отец у тебя давно тут живет?

— Да мы здешние. Не то что отец, а и дедушка и раньше его все при заводском деле были.

— Ты кем будешь?

— Я-то? — Миша застенчиво улыбнулся, еще раз спросил: — Я-то? Я, брат, как выучусь в нашем втором городском, в магазин к Шварте поступлю.

— Зачем?

— Там компасы продают. Видал?

Я сознался, что видал только на картинках в «Родном слове».

— А там и горные компасы есть. Под землей с ними не заблудишься. И других мелких машинок много.

— Приказчиком поступишь?

— Механиком бы охота. Собирать, разбирать, людям показывать. Починить когда. А удилище там на пять колен бывает. Несешь — вроде тросточки, а составишь да закинешь — еле поплавок видать. И жерличные шнурки такие, что пудовая щука не оборвет, коли поводок не перекусит.

— Ты рыбачить любишь?

— Я-то? Да я чуть не каждый день на пруд бегаю ершей ловить. Когда и дедушка меня с собой берет. За дальние острова с ним плаваем. Там он мережи ставит.

— Своя лодка у вас есть?

— А как же! Дедушка без этого не может. И тятя, когда ему свободно, рыбачит. Теперь они лучат чуть не каждую ночь.

— Тебя берут?

— Меня-то? — Миша задержался с ответом, но все-таки сказал правду. — Жерлицы смотреть, мережи тянуть берут, а лучить — нет. Говорят, не дорос. Знаешь, большие...

Это я по опыту знал и сочувственно подтвердил:

— Знаю я этот разговор.

Поравнявшись с квартирой Алчаевского, мы еще долго разговаривали, потом дошли до ближайшего переулочка, и Миша, указав на трехконный домик, сказал:

— Тут мы живем. Приходи через часок. Пойдем ершей ловить.

Это знакомство было большим событием в моей жизни. Еремеевский дом и семья живо напомнили мне быт родного завода, о котором я, видимо, начинал

скучать. У Еремеевых, правда, жил «какой-то городской», но в остальном все было, как на «нашей улице». Отец и старший брат Миши жили по гудкам: оба работали на заводе. Дедушка, с выжженными щеками доменщика, «служил по лесному делу», но был крайне недоволен своим положением:

— На старости лет нарядили доглядывать, кто куда свое полешко сунет: в свою печку, в соседскую ли!

Мать Миши «ворочала по хозяйству»; старшая сестра, которую Миша звал нянькой, помогала матери и «водилась» с двумя малышами. Весь уклад дома мне казался настолько знакомым, что я заранее знал, что вдоль теневой стены дома должны быть спицы для удочек, а ниже их — спицы с натягами для запасных удилиц. Так оно и оказалось, и это, помню, меня обрадовало до слез: как у нас, как у Петьши, Кольши.

Понятно, что я стал завсегдатаем еремеевского дома. С Мишей мы крепко сдружились. Одинаковый возраст, одни и те же условия быта давали нам возможность хорошо понимать друг друга. Было лишь одно, что нам сильно мешало. Это разные училища. По обычаям тех лет, ученики разных училищ были в постоянной вражде между собой. Причем «начальники» — ученики начальных школ — из общего счета исключались. Считалось позором «связаться с азбучниками». Исключались и дети школьного возраста, которые нигде не учились. На «стороннего налетать» тоже считалось неправильным. Так как «духовники» не имели формы и могли «прикидываться начальниками» либо «сторонниками», то производился контроль по книгам.

Может быть, потому, что первое городское и духовное находились по соседству, вражда между этими училищами была особенно острой и напряженной. «Духовники», уходя в город, неизменно охотились на «козлов» и преувеличенно хвалились, когда им удавалось «продрать козла до слез», те, в свою очередь, не упускали случая «растереть кутью». Совместные военные действия допускались лишь при столкновении со «светлопуговишниками» — гимназистами и реалистами. Но союз был кратковременным и непрочным. При оценке боевых действий мнения расходились: победу каждая сторона приписывала себе, а поражение объясняла слабостью другой, — и кончалось это взаимной потасовкой.

Миша учился во втором городском училище, чем немножко гордился, произносил слово
второе
так, будто это училище было гораздо значительнее первого.

Второе городское было далеко от духовного, и это давало нам уверенность, что наша дружба не станет известна ни в том, ни в другом училище. У меня вовсе не было никакой формы, даже в виде пряжки пояса. Ходил я тогда в «пиджачке домашнего покроя», как называл мой костюм Никита Савельич. Это позволяло Мише ходить со мной, как со «сторонним», но утрами на занятия мы все-таки отправлялись порознь. Наши враги — бревновские ребята — как-то узнали, что я учусь в духовном, и могли подвести Мишу перед его товарищами по второму городскому. Таких в Верх-Исетске было человека три-четыре.

Ко мне Миша не любил заходить: стеснялся непривычной обстановки и дальше кухни не шел. Отношение к нему оказалось разное.

Парасковьюшка после его первого прихода спросила:

— Еремеевский парнишка-то?

Получив утвердительный кивок головы, сказала:

— Худого про родителей не скажешь. Моя-та Аграфена в свойстве им по мужу доводится.

Полиевкт Егорыч тоже одобрил. Как-то вечером подошел, когда мы рьяно спорили о свойствах жальца рыболовного крючка, и сказал:

— Нашел-таки Сысертский пичугу своего полета. Поговорить есть о чем. Это тебе не Хлипачок. Сам поучит, как надо с бань скакать. Семена Еремеева вроде? — спросил он у Миши.

— Его.

— По перу видать, — и старик погладил Мишу.

Ваня Волокитин отнесся к моему новому знакомству крайне враждебно и отказался дать книжку, которую накануне обещал:

— Раз ты с таким дружить стал, не дам.

— Чем тебе он помешал?

— Не знаешь, что городчики с гимназистами всегда дерутся?

— Так ведь то на улице, а тут дома.

— Понимаешь ты! Я с тобой теперь в город ходить не стану!

— Больно мне нужно! Один дорогу знаю.

— С городчиками дружишь, то и не боишься. Скажу вот вашим! Они тебе покажут!

— Сунься! Светлых пуговиц не останется! Ябеда! С крыши скакать не умеешь!

— А книжек от меня больше никогда не получишь!

— Стал я плакать о всяком барахле! У Никиты Савельича книжек-то! Все комнаты забиты!

— Есть, да не такие, — поддразнил Ваня и ушел.

На этом наши отношения и оборвались. Мне было жаль, что не могу больше брать у него книжки для чтения. Книгами Никиты Савельича я напрасно хвалился, так как знал, что они «скучные». Софья Викентьевна своих книг мне не давала, говорила, что мне рано такие читать, а волокитинские казались мне интересными. Все же я тогда нечаянно дал верную оценку, назвав их барахлом. Это и было книжное барахло — уголовные романы. Авторы их не помню, верней, не замечал, но названия остались в памяти: «Кровавое болото», «Кошачий глаз» и прочее в таком же роде. Раз Софья Викентьевна увидела у меня такую книжку и велела немедленно отнести Волокитиным, запретив вперед «читать такую гадость». После этого она даже достала мне «Робинзон Крузо». Конечно, «Робинзон Крузо» был куда интереснее тех книжек, но его хватило не надолго, а дальше опять пошли волокитинские книжки, с той разницей, что читал их теперь тайком от Софьи Викентьевны. Тем более, что делать это было легко, так как она сама была, по словам Парасковьюшки, «великая читальница». Во время частых поездок Никиты Савельича проводила все время за чтением романов, которые он иногда называл «французским пряником из печатной бумаги».

Отношение самой Софьи Викентьевны к Мише было не совсем приветливое. Увидев как-то его в нашем дворе, она спросила Парасковьюшку:

— Это еще что за вихрастый у нас появился?

Парасковьюшка сказала то же, что говорила в первый раз после посещения Мишей нашего двора. Это, видимо, успокоило, но разрешение было условным:

— Шалун, наверно. Лучше бы его не пускать.

Зато я у Еремеевых был принят всеми дружелюбно. Чтоб лишний час побыть у них, я прекратил шатания по городу. Стал ходить теперь в училище и обратно «степью» и «через Амур».

«Амуром» тогда назывался участок южнее нынешней водонапорной башни. Здесь в маленьких домишках по линии Московской улицы были «беспатентные харчевни» и «необъявленные пристанища», как утверждала полиция. На вопрос, почему это место называлось «Амуром», дедушка Миши Гаврило Фадеич объяснил:

— Бывает, что нужда загонит человека на дальнюю реку Амур, и редко кто домой воротится. Этим тоже нужда загнала в такое место, с которого обратную дорогу не скоро найдешь. Вот и вышел «Амур», только без воды.

Впоследствии я слышал другое объяснение этого названия — от амурных будто бы походов в этом конце города, — но это, на мой взгляд, неверно. Притоны, вероятно, и тут были, но чаще там просто окраинная беднота за копейки пускала на ночлег, а иногда и кормила людей, пришедших в город в поисках работы, или тех, кто не успел «укорениться» настолько, чтобы снять себе комнату в более спокойном месте.

«Амур» считался опасным местом. Внешне он таким и казался. Здесь, ближе к «степи», толкалось немало «потерянного народу», который на угрозы тюрьмой отвечал:

— По соседству живем, нам не страшно.

Для десятилетнего мальчугана с книжками проход здесь все-таки был вполне безопасен. От мальчишек можно было встать под защиту любого «дяденьки, который так рыкнет, что отскочишь». Гораздо опаснее было пересекать по диагонали «богову землю» — «степь», разделявшую город и Верх-Исетский завод. Тут могли «наподдавать» мальчуганы других школ. Приходилось применять военную хитрость — прятать книжки. Я так и делал. Выйдя на линию Московской улицы, забивал книги на спину за пояс, а в платок, в котором носил хлеб «на перекуску», как говорила Парасковьюшка, набирал камней и шел дальше, беспечно помахивая узелком. Убивались два зайца: и школьной видимости не было и дополнительный запас метательного материала имелся под рукой. Маскировке мешала пухлая хрестоматия, по которой обычно «задавали на дом» выучить наизусть какое-нибудь стихотворение. Чтоб избавиться от лишнего груза, я стал заучивать заданное в последнюю перемену, а книжку оставлял у сиделки училищной больнички.

Эта старуха была «хоть не из нашей улицы», то есть раньше была мне неизвестна, но «из нашего завода». Ребята любили старуху, так как она многим «сноровляла по больничному делу», и в первые же дни учения сказали ей, что приехал «из нашего завода». Старуха разыскала меня в толпе ребят на училищном дворе и принялась расспрашивать: чей, из которой улицы?

Припомнила, что с «Дуняткой (моей бабушкой) в девчонках по соседству жила и тоже чуть не попала на старый завод по девьему набору». Повздохала, поохала: «Как годы-то бегут!» Подумала вслух: «Неузнано дело. Может, лучше бы обернулось, коли тогда в девий набор попала, чем эдак-то без семейственности по городу болтаться!» В заключение наставительно сказала:

— Гляди, учись хорошенько, чтоб нашим заводским покору не было, будто сысертские толку не имеют.

Некоторые из ребят, слышавшие этот разговор, склонны были подразнить меня: «Сиделка ему родня!» — но я не понял насмешки и простодушно объяснил:

— Не родня, а через две улицы от нас жила и с моей бабушкой подружка. Слышал, зовет ее Дуняткой, а она такая же старая.

Сам я охотно признал бабушку Катерину Григорьевну близким человеком и попросил, нельзя ли оставлять у нее книжку. Старуха, однако, не склонна была к «зряшним поблажкам», поэтому каждый раз спрашивала:

— А ты уроки выучил? Которые по этой книжке?

В ответ я начинал «барабанить с задыхом» — быстро говорить, насколько хватало дыхания.

Катерина Григорьевна была неграмотная, поэтому обращалась к кому-нибудь из старших учеников, «спасавшихся в больнице от уроков»:

— Ну-ка, ты, урокова немочь, послушай.

Приглашенный в судьи, разумеется, давал блестящую оценку:

— Здорово вызубрил. Прямо на пять с плюсом!

Старуха, зная односторонность бурсацких законов товарищества, с сомнением поглядывала то на судью, то на меня и раздумчиво говорила:

— Кто вас знает! На ухо будто бойко сказывает. А то ли, которое надо?

— То самое, — подтверждал судья, а старуха еще раз спрашивала:

— Так, говоришь, ладно? Не обманываешь?

— Ну, что ты? От зубов отскакивает! Лучше нельзя, — успокаивал судья.

Старухе казалось этого мало, и она требовала:

— Ну-ка, скажи вечорошнее, про чижа со злодейкой.

Я «отжаривал» басню «Чиж и голубь», и на этом проверка кончалась, Катерина Григорьевна брала у меня книгу, совала ее в подстолье аптечного шкафика и говорила:

— Не беспокойся, в сохранности будет. Что ее зря трепать! Тоже не близко место Верх-Исетск.

И, надо сказать, я ни разу не обманывал старуху по простой причине: большую часть задававшихся тогда стихов знал еще до поступления в училище, да и новые схватывались ребячьей памятью легко и быстро.

Через несколько дней я привык к новому пути и перестал набирать в платок камни, полагаясь на одни карманные запасы.

Мне теперь нравилось постоять, когда дойдешь до середины огромной верх-исетской поляны между городом и заводом. Лишь в одном месте, вблизи от замка, как тогда называли тюрьму, виднелись пни. Оказывается, была попытка развести здесь простенький сад из тополей, но их срубили для безопасности. Московская неправильно называлась улицей, так как состояла из одного ряда домов окнами в сторону Верх-Исетска. Такой же одинаркой, только окнами к городу, кончался и Верх-Исетский завод примерно в половине квартала от бывшей Нагорной церкви.

На середине этой пустынной поляны как-то отчетливее видно было движение по Сибирскому тракту, которое от тюрьмы разветвлялось. Один поток, преимущественно тройки и пары с колокольцами, шел к столбам заставы и дальше по главному проспекту, где было несколько ямских станций. Другой, более мощный, грузовой поток направлялся к нынешней улице Малышева, чтоб от нее пересечь город и через Щепную площадь выйти на улицу Декабристов.

Тем же порядком шло встречное движение: с улицы Малышева — грузовое, а от столбов заставы ехал «звонкий пассажир» — с колокольцами. Нынешняя улица Куйбышева называлась Сибирским проспектом. Но никакого движения на Сибирь здесь не было, да и не могло быть, так как на этой улице не было моста через Исеть.

Любимым местом моего нового пути было взгорье против первой Ключевской улицы. Отсюда открывался такой вид на город, что я просто не мог здесь не остановиться. Другой, еще более захватывающий вид на заводской пруд открывался уже в самом Верх-Исетске, около Нагорной церкви. Мы с Мишей не раз прибегали сюда полюбоваться на широкую панораму пруда, а потом, дождавшись потемок, подолгу смотрели на городские огни.

Раз нам удалось побывать на колокольне Нагорной церкви, что оказалось не совсем просто. Этой колокольней пользовались не только для церковного звона, но и как пожарной вышкой. От завода там посменно «стояли» двое. В шесть часов утра и в шесть часов вечера церковный каморник Назарыч выпускал одного и выпускал другого в притвор, откуда лестница вела на колокольню. Один из таких заводских сторожей «был в родстве» с Еремеевыми. Миша и стал его просить:

— Дяденька Кузьма, возьми нас с собой на колокольню!

«Дяденька Кузьма» был не из приветливых людей. У него правая рука была вдвое короче левой и не сгибалась в локте. Его за это звали «безлокотником». Природный недостаток мешал ему работать обычным образом, и он смолоду «околачивался на стариковском деле». Вероятно, этот недостаток и сделал человека угрюмым, неразговорчивым. На просьбу Миши он пробурчал:

— Придумал! Не пасха, чтобы всякого на колокольню пускать!

На повторные просьбы ответил:

— Назарыч не пустит.

Кончилось все-таки согласием с оговоркой:

— Чтоб в первый и последний раз!

К шести часам мы с безлокотным дяденькой подошли к церкви. После заводского гудка каморник Назарыч открыл дверь и, увидев, что мы тоже входим, спросил:

— А эти угланята куда?

— Поглядеть охотятся, — угрюмо ответил Кузьма и добавил: — Отвязаться не мог.

Назарыч в противоположность Кузьме был веселым, ласковым стариком.

— Поглядите, поглядите! Только, чур, не баловать на колокольне. И долго там не стойте, а то как запрусь на ночь да завалюсь спать, на всю ночь тут останетесь. Ты уже догляди сам, — прибавил он, обращаясь к безлокотному. — Да не давай им бороться по лестнице! А то ведь ребята, им все вскачь надо.

— Угу, — пробурчал Кузьма.

На колокольне Кузьму встретил другой старик ворчаньем:

— Копаешься! — и, взглянув на нас, добавил: — Хвост еще за собой притащил! Привожай их, не рад станешь!

— Говори по делу, — потребовал Кузьма.

— По делу хорошо. Часы отбивал, худого не видал.

С этим ворчливый старик стал спускаться. Напутствие Назарыча, чтоб не баловались на колокольне, оказалось лишним. Оба мы, как зачарованные, простояли с полчаса у перил колокольни, смотря на город и верх-исетский пруд. Стояли бы и дольше, но наш Кузьма настойчиво предложил:

— Будет! Слезайте! Не час вам тут стоять!

Мы оба заикнулись было: «Дяденька, еще маленько!» — но Кузьма был неумолим:

— Сказано слезать!

Может быть, это было и хорошо, что наш угрюмый вожак не дал «досмотреть». В памяти осталась недопроявленная картина, где смешались краски заката, всхолмленность местности, скрашенная расстоянием пестрота домов и причудливая рама верх-исетского пруда. На меня этот пруд тогда произвел такое впечатление, как будто я увидел его впервые, хотя не раз с Мишей ходил с удочками далеко по берегу, в том числе на Большой и Малый конный. Так назывались два мыса в юго-восточной части пруда, где в летнюю пору пасли лошадей. Точнее, выпускали на кормежку с закованными в железо передними ногами «для сохранности от воров». С этого места я имел возможность видеть ближний остров Баран, но он ничем меня тогда не привлекал. Наоборот, это даже усилило мои возражения в споре с Мишей, который «задавался своими островами».

— Подумаешь! Пустырь и пустырь! Нисколечко не интересно!

Но когда посмотрел на пруд с вышки колокольни, острова неудержимо потянули меня. На нашем заводском пруду их не было, а тут и дальние и ближние, и все они с колокольни казались красивыми.

— Хоть бы на ближнем побывать!

У Еремеевых была лодка, которая считалась дедушкиной. Даже взрослые не имели права пользоваться «без дедушкина слова». Обойтись без этого «слова» было нельзя, потому что с ним передавался и ключ от замка, которым была замкнута цепь у «причала» — огромной коряжины с вбитыми в нее пробоями.

Одному Мише лодка не доверялась, а когда он указал на меня, как товарища, Гаврило Фадеич сказал:

— У двоих и баловства вдвое.

И, как мы ни упрашивали, старик уперся на своем:

— Нельзя.

Помог, вернее, подвел нас рыбный пирог. В этом году старшему брату Миши исполнился двадцать один год, и в ноябре он должен был явиться на призывной участок. По такому случаю решил справить именины «по-хорошему», то есть с приглашением родных и близких знакомых. Дедушка две ночи кряду ездил с мережами и очень удачно. Именины пришлось на воскресный день. Зная, что будут гости, я с утра не пошел к Мише, но он сам прибежал за мной:

— Пойдем! Дедушка за рыбным пирогом подвыпил. Сговорим его!

Я не стал возражать, и мы побежали. В избе было шумно. Гаврило Фадеич сидел на крыльце с каким-то незнакомым мне стариком. На просьбу Миши о лодке Гаврило Фадеич сначала ответил решительным отказом.

— Сколько раз говорить, нельзя!

Но у нас оказался неожиданный союзник, старик, сидевший рядом с Фадеичем. Узнав, что мы просим лодку, он проговорил:

— А я своему даю. В какую хошь погоду. Такой же, как вот эти. Беспрекословно даю. Пускай приучается.

Гаврило Фадеич посмотрел на небо, вытащил из кармана заветный ключ и, подавая Мише, проговорил:

— Ладно уж, потешьтесь для братовых именин. Только больше чтоб никого не брать и засветло домой! Весла берите, которые полегче.

У лодок, рассчитанных для «ботанья и лученья», где человеку приходится работать стоя, главным качеством считается устойчивость, но легкостью хода такие лодки не отличаются.

Мы сначала решили ехать на Дальние острова, но скоро убедились, что и расстояние до Барана нелегко одолеть двум десятилеткам. Оба были в поту, набили мозоли на руках, когда приплыли, наконец, к этому острову. Тут решили сделать остановку.

Пристали с восточной стороны. Лодку, сколько могли, вытащили на берег, поспорили друг с другом о количестве и качестве своих мозолей и для передышки занялись игрой. Оба мы читали «Робинзона», поэтому без раздумья решили играть «в Робинзона на необитаемом острове». Вид заводских труб, плотины, церквей и домов Верх-Исетска, конечно, мешал представлению острова необитаемым, поэтому мы перекочевали на западную сторону Барана, откуда виден лишь дальний бор. Редкие лодки катающихся и рыбаков мы старались не замечать. При организации игры возникло немало спорных вопросов. Прежде всего надо было решить, кому быть Робинзоном, кому — Пятницей. Решили этот вопрос жеребьевкой. Дальше вышло серьезное затруднение в способе, как выразить готовность Пятницы во всем слушаться Робинзона. Один уверял, что Робинзон должен поставить ногу на спину Пятницы, а другой говорил — на плечо, что казалось просто невозможным. Дальше возник еще более трудный вопрос: что делать на необитаемом острове? Припомнили, что прежде всего надо развести «огонь без спичек». Островок был безлесным. В расщелинах камней только изредка встречались карликовые березки. Нашли все-таки сухих прутьев и стали их тереть один о другой, но они лишь чуть теплели, а огня не было. Хотели соорудить из таких прутьев сверло, но не было шнура. Миша сообразил, что можно заменить шнурок гайтаном с креста, но нужна была еще планка с отверстием в середине. В нашем же распоряжении был один инструмент — мой перочинный ножик, у которого маленькое перо вихлялось, а большое было наполовину подломленным.

Пока мы пытались преодолеть трудности добывания «деревянного огня», погода, как это иногда бывает на Урале, резко переменилась, стало холодно, подул северо-западный ветер и начал разводить волну. Сперва нас это даже порадовало: все-таки на необитаемом и в бурю, да и обратно при попутном ветре плыть легче. Нас занимало, когда по гладкой поверхности воды побежали пятна ряби. Мы видели, как они, сбегаясь и разбегаясь, перешли в бесформенное волнение, из которого вскоре возникли определенные ряды волн. Когда на волнах стали появляться белые гребешки, мы стали отыскивать «девятые валы». Так как невозможно было точно сговориться о ряде, с которого начинать, то счет у нас не сходился и возникал спор, который вал «девятое»?

Мы видели, как с пруда поспешно уходили лодки. Один из рыбаков, проезжавший вблизи острова, крикнул:

— Пора домой, ребяташки! Скорей убирайтесь!

Нас обидел этот окрик неизвестного, и Миша ему ответил:

— Не маленькие! Без тебя знаем.

Западная сторона пруда теперь стала совсем безлюдной и мрачной, ветер усиливался, и начинало темнеть. Стало страшновато, но именно поэтому каждому из нас не хотелось первому заговорить о возвращении. Еще постояли, но уже оба томились желанием поскорее добраться до дома. Я дипломатически выразил опасения:

— Дедушко-то, поди, сердится, что долго лодку не ведем. Другой раз ключа не даст.

— И то, — быстро согласился Миша. — Пожалуй, пора домой.

Но когда мы подошли к месту остановки, то лодки не оказалось. Ее, как видно, скачало волной, пока мы считали «девятые валы». Нам-таки пришлось провести довольно прохладную ночь на «необитаемом острове в бурю», и ни один из нас не мог похвалиться, что это доставило ему удовольствие. Мы сначала до хрипоты кричали в сторону плотины, потом перекорялись друг с другом, по чьей вине упустили лодку, а когда увидели на берегу двигавшиеся огни фонарей, всплакнули над своей участью.

— Думают, видно, что мы утонули.

Миша ждал телесных неприятностей. Мне это, пожалуй, не грозило, но было хуже: мой «случай с городской учебой» ставился под удар. На выручку пришло «страшное». Оно заслонило все остальное. Вспомнились разговоры о щуке, которая втягивает в пасть целую утку, о гигантском налиме, который выходит на берег и может «присосаться». А вдруг он тут близко? На всякий случай отодвинулись от берега. Все-таки холод осенней ночи оказался сильнее «страшного». Мы сначала подпрыгивали и стучали зубами в одиночку, потом занялись добыванием «внутреннего тепла»: стали бороться. Кончилось тем, что мы, примостившись от ветра за скалистым выступом, прижались друг к другу и крепко уснули. Холод, однако, поднял обоих нас рано, и мы издали увидели, что по направлению к острову шла большая четырехвесельная лодка. В носовой части сидели дедушка Миши, дальше — его отец и старший брат. К своему удивлению, я увидел, что и Никита Савельич в лодке. Екнуло сердце: что будет? Мы даже готовы были куда-то бежать, когда лодка стала подходить к острову, но все переменял выкрик дедушки:

— Испужались, мошенники!

В голосе вовсе не слышно было угрозы, и Миша стал уверять:

— Ничего не испугались! Подумаешь, беда, лодку унесло!

— Рот разинешь, так не то, что лодку, голову унесет. А это ты врешь, что не испугались. На берегу слышно было, как оба ревели да маму кричали! Видишь, голос осип и глаза подпухли.

По части мамы была явная выдумка, но почему-то все в лодке засмеялись над этим. Верили, видно, а дедушка Миши звал:

— Идите скорее, — уши драть буду.

В нашем положении не оставалось ничего другого, как идти в лодку. И дедушка, подхватив Мишу, неожиданно заплакал.

— Испужал ты меня, Мишунька!

Тут пришла мишина очередь, и он «в голос заревел», обращаясь к отцу:

— Не буду, тятя!

— Ладно уж! — промолвил тот. — Надевай вон полушубок. Намерзся, поди?

Только старший брат проворчал:

— Сделал ты меня именинником!

Но отец строго оговорил:

— Не зуди! Со всяким может случиться.

— А ты, Егорко, что скажешь? — спросил меня Никита Савельич.

— В Робинзоны мы играли, — начал я оправдываться.

— Вы играли, а мне отдуваться! — сухо проговорил он, потом более ласково: — На-ка плед. Закутайся хорошенько. Продрог, наверно.

В волокитинских книжках мне не раз случалось встречать такие слова, как плащ и плед, но я не знал, что плед — большая шаль, в какую обыкновенно кутаются женщины, отправляясь зимой в дорогу. Я не умел с ней обращаться, да и стыдно было в «бабью одежду снаряжаться». Никита Савельич строго приказал:

— Разверни и набрось на плечи.

Пришлось послушаться. Сразу стало теплее. Миша уже отогрелся в полушубке и, сидя рядом с отцом, поглядывал на меня веселыми глазами. Я

знал: будет потом смеяться, что я ехал в женской шали, как маленький, но мне было не до этого. Беспокоило другое: как дальше будет.

Вышло не так, как я думал. Когда мы пришли домой, Никита Савельич сказал:

— Получи Робинзона! Он, видишь, играет, а мне от тебя житья нет. Ничего ему не сделалось.

Софья Викентьевна, ходившая с заплаканными глазами и со своим «нюхальным пузырьком», была необычно приветлива. Сейчас же стала поить меня чаем с малиновым вареньем, потом уложила на кушетку, натерла ноги спиртом и укрыла своим мягким одеялом, тем самым, что удивило меня в первый день приезда в город.

За чаем я рассказал, как было дело. Старался, конечно, обелить себя, но боялся сваливать всю вину на Мишу, чтоб не запретили играть с ним. Никита Савельич, понявший мою хитрость, проговорил:

— Подобрались! Два сапога пара. Развести вас надо. Ты сегодня на уроки не пойдешь. Буду в городе, скажу там, что прихворнул.

Этот разговор меня встревожил. Еще хуже стало, когда Парасковьюшка укорительно сказала:

— Ты что же, милый сын, вытворяешь? Не у своих, поди, живешь! С оглядкой надо. Что мне отец с матерью скажут?

Я и сам еще в лодке почувствовал, что значит «жить со своими» и «не со своими», и теперь не верил ни теплоте одеяла, ни приветливости Софьи Викентьевны. Мне захотелось домой, чтоб там «наругали как следует» и... простили тоже как следует.

Пролежав день, плохо спал ночью, но на следующее утро ушел в училище. Дни пошли обычным порядком, а все-таки я не переставал чего-то ждать. Так и вышло. Никита Савельич, возвратившись из поездки, сказал:

— Видел твоих. Сговорился с ними. Завтра переведу тебя на ученическую квартиру. К нам будешь ходить каждую субботу. Воскресенье здесь, а в понедельник утром на уроки. Понял? Книжки, значит, с собой приносить будешь.

После случая с «необитаемым островом» Софья Викентьевна как-то потеплела ко мне. Раньше всегда обращалась на «вы», теперь говорила «ты», подарила мне чудесную книгу «Принц и нищий». Раз даже стала пересматривать мое

бельишко. Нашла, что оно плохонькое, и сделала замечание Парасковьюшке за непростиранный ворот, чем вызвала большое недовольство.

— Нашла куда сунуться! Без тебя не знают! Простирай у них, попробуй! А что рубашонки плохие, в том ничьей вины нет. Всяк бы доброе заводил, да не у всякого хватает! — ворчала Парасковьюшка, когда Софья Викентьевна ушла в свою комнату.

Вообще стало заметно, что Софья Викентьевна изменилась ко мне, но я почему-то этому не доверял, и мне было неприятно, что она теперь звала меня «Горичкой». Вовсе по-девчоночьи. Вот бы Петьша с Кольшей услышали! Было бы смеху на всю улицу.

Услышав теперь о переезде, Софья Викентьевна запротестовала: зачем с этим спешить, но Никита Савельич загремел:

— Хватит, матушка, с меня твоих сантиментов! Хватит! Парнишка — не игрушка. Изболтается у нас, а там хоть голодно, зато к работе приучат.

Дальше у них пошли «междоусобные разговоры», Софья Викентьевна схватилась за свой «нюхальный пузырек», а кончилось это тем, что мой зеленый сундучок с его владельцем в тот же день оказались на Уктусской улице, в доме Садина. Софья Викентьевна при прощании даже расплакалась и поцеловала меня в веки. Я старательно обтер это место пальцем и подумал: «Как-то у нее все не по-людски выходит».

Но мне почему-то стало жаль ее, и я искренне заверил, что в следующую субботу обязательно приду, хотя перед этим решил: «Ни за что ходить не стану».

В верхнем этаже дома Садина, в расстоянии полутора квартала от училища, была одна из «ученических квартир». Это была не бурса, в которую мне предстояло вскоре перебраться, но все-таки преддверие. Придя с уроков, ученики не имели права уходить с квартиры без особого разрешительного билета, который подписывался только смотрителем или инспектором училища. Даже простой выход на улицу против дома считался преступлением. Вечером с пяти до девяти часов полагались обязательные «вечерние занятия», делившиеся полчасовым перерывом на «первые занятные» — два часа и «вторые занятные» — полтора часа. На «первых занятных» не разрешалось чтение книг из библиотеки, надо было сидеть над учебниками даже в том случае, когда тебе казалось, что уроки приготовлены. Квартира почти ежедневно посещалась кем-нибудь из учителей или надзирателей училища, которые проверяли подготовку к урокам и общее прохождение

занятий. Случаи какого-нибудь нарушения установленного порядка «заносятся в квартирный журнал», который в конце месяца представлялся инспектору при постановке баллов по поведению. Кроме обычных посещений квартиры учителями и надзирателями, были еще «налеты Антипки косолапого», как звали инспектора. Налеты не были частыми, но всегда неожиданными. Прибежишь, например, с уроков, чувствуешь себя свободно, влетаешь в квартиру, а он тебя встречает вопросами:

— Ты куда пришел? Почему шапку не снял? Где место твоим калошам? Белоручка, не можешь вешалку пришить! Нянюшку надо?

Ни во время свободных часов (с двух до пяти), ни даже во время сна мы не были застрахованы от его посещений. Спокойно придем на уроки, а в большую перемену «всю квартиру» вызывают к инспектору, и начинается вопрошательство:

— Почему простыня грязная, когда в сундуке две запасных? Зачем руки под одеялом держишь, когда всякий настоящий мужчина должен приучаться держать их открыто? Как складываешь одежду? Штаны на стул, рубаху под стул, а пояс где придется?

Это значило, что инспектор побывал ночью и запретил хозяйке рассказывать нам об этом.

Мы, разумеется, не любили Антипку, но теперь, задним числом, думаешь, что человек работал добросовестно, старался привить нам полезные навыки и держал в узде квартирохозяев по части обслуживания и питания, так как в любой день можно было ждать: «зайдет пообедать», «поужинать», «попить чайку». Свирепое отношение к великовозрастным, «прорвавшимся в винопитии» и обижавшим младших, было тоже понятно, так как «ранняя вода» и «культ кулака» были главным злом старой бурсы.

Была лишь одна черта, которая нравилась в инспекторе и тогда: он любил устраивать чтения. Это особенно ярко выступило потом, когда все квартирные были переведены в общежитие. Там после ужина, когда оставалось еще часа полтора свободного времени, он открывал эти чтения в зале. Чаще всего читал сам, и всегда классиков: «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого и так далее. Не сторонился нового, что тогда появлялось в печати. Отчетливо, например, помню, что «Кадеты» Куприна впервые услышал на одном из этих чтений.

Предполагалось, что, кроме инспектора, квартиры должен посещать и смотритель училища, но это уже была легенда. Смотрителем в те годы был И.

Е. Соколов, тот самый, о котором не раз, как о своем лучшем преподавателе, вспоминал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Никита Савельич, учившийся одновременно с Маминым-Сибиряком, говорил о Соколове менее лестно, но все-таки считал его хорошим преподавателем.

Но с той поры прошло около тридцати лет, и бывший хороший преподаватель семинарии стал скорее забавным, чем страшным зрителем духовного училища. Звали его «Старый петушок». В отличие от других, он всегда ходил во всех крестах и медалях и непременно в своей бархатной камилавке. Причем убор этот всегда был исправен, с незахвачанным бархатом. По этому поводу шутили:

— Так он же никогда не снимает. Как с утра надел, так и до вечера.

Другие объясняли иначе:

— На каждый месяц новые камилавки заказывает, а старые для хозяйства идут: цыплят в них держат, яйца — тоже. Сам видел: полный угол.

Ученические квартиры зритель никогда не посещал и даже не знал в лицо учеников тех классов, где ему приходилось заниматься. Но все-таки он иногда «выступал с речью». Даже малыши, еще не вполне понимавшие, в чем здесь дело, удивлялись этим речам. Вел он их всегда с пафосом, размахивал руками, потрясая крестами, и неизбежно декламировал какую-нибудь часть из державинской оды «Бог»:

О ты! Пространством бесконечный,
Живый в движеньях вещества,
Теченьем времени предвечный,
Без лиц, в трех лицах божества!

Хриповатый голос, жиденькая бороденка, ставшие непонятными слова и преувеличенная жестикуляция — все это производило странное впечатление старины. Перед нами выступал именно преподаватель элоквенции и риторики уже в те годы, когда эти названия употреблялись в ироническом тоне. Зрительские речи не столько слушали, сколько смотрели, как лицедейство, которое потом пародировалось и немало потешало ребят.

Из воспитательного воздействия оды «Бог» помню лишь ходовую инсценировку к одному стиху:

«Я царь» — солдатская выправка, строгое лицо, плечи приподняты, обе руки на высоте груди, одна зажата в кулак, другая полураскрыта ладонью вверх. Предполагается: в одной — скипетр, в другой — держава.

«Я раб» — ноги, согнутые в коленях, руки повисли, голова опущена, лицо печальное.

«Я червь» — спина и шея продольно искривлены, вытянутая вперед рука делает «ползательные движения».

«Я бог» — голова откинута вверх, глаза выпучены, руки распахнуты, обнимая весь мир.

Сам декламатор оды оказался рабом... стяжательства. В то время, как я узнал потом, особая комиссия уже занималась исследованием двух совпадений: смотритель училища приобрел себе двухэтажный дом с мезонином, а строительство общежития на углу Уктусской и Александровского (ныне 8 марта и Декабристов) велось медленно и плохо. Расследование шло без спешки и огласки и могло бы кончиться ничем, если бы не вмешался «Антипка косолапый», который «донес на следователей». В результате декламатора выперли на приход за город, где он мог в церковных проповедях показывать образцы бурсацкой элоквенции семидесятых годов, чем немало удивлял богомольных старух:

— Припадочный, видно, батюшка. Как начнет проповедь читать, сейчас руками замашет, головой заболтает вроде балаганного зазывалы о пасхе. А о чем рассказывает, понять нельзя.

Переход на режим ученической квартиры дался не без трудностей. Мне казалось диким, что нельзя выбегать на улицу со двора даже в «свободные» часы. Не менее удивляли и обязательные сидения за учебниками в течение двух часов. На деле же это оказалось необходимым и своевременным. В сущности, до этого я лишь учил наизусть стихотворения, большая часть которых была мне знакома раньше, а тут пришла пора заниматься более основательно. Чтоб ясней было, напомним, что подготовка в начальных школах того времени была очень разная. Кроме школ земских и министерских, существовали еще церковно-приходские. Если первые две группы школ не могли похвастаться отпускаемыми им кредитами, то в последних это сводилось к совсем ничтожным суммам. Предполагалось, что духовенство бесплатно сумеет найти время для занятий в школе. В действительности этого не было. И на те жалкие средства, какие имелись, нанимался учитель. Разумеется, «соответственный». В силу этого про церковные школы и говорилось: «Не столько там учат, сколько тень на образование наводят». Я же учился в земской школе, где был «настоящий учитель» и даже были «дополнительные предметы за счет завода». Иначе говоря, ходил регент заводского хора и обучал «певучих ребят», а также чертежник, учивший нас

черчению и рисованию. Конечно, все это было «чуть-чуть» и направлялось к поиску «склонных», которых потом забирали в хор или в заводскую чертежную, но все же это кое-что давало. Да и учебный год в заводских школах был гораздо длиннее, чем в сельских, где он начинался после уборки хлебов и кончался с началом весенних полевых работ. Так как среди учеников нашего училища было много из церковно-приходских школ, то мое положение было преимущественным, и я вначале мог вовсе не заниматься.

В училищной квартире жило девять человек разного возраста. Трое — мои соученики, двое — великовозрастных, не один раз остававшихся на «повторительный» курс, и четверо третьеклассников, которые уже причисляли себя к старшим. Оба великовозрастные были из «тихих зубрил». Они надоедали разве тем, что не давали повозиться и пошалить во время «вечерних занятий». Из третьеклассников был один «охочий позадаваться», но физические его возможности были ограничены, и, когда мы, первоклассники, в какой-то игре дружно его отлупцевали, он стал с нами на равную ногу. Вообще мне, как видно, повезло: ни в какой квартире, ни потом в общежитии не помню, чтоб кто-нибудь обижал и притеснял меня как малыша. Вошел в новую для меня жизнь просто, без особых трудностей и переживаний.

У садинского дома было одно ценное качество. Он находился рядом с верходановским садом, на угловом участке которого достраивалось наше общежитие. Сад занимал тогда большую часть квартала между нынешними улицами 8 марта и Разина. Вдоль улиц Декабристов и Разина шли аллеи старых плакучих берез, к улице 8 марта примыкал участок, засаженный частью хвойными, среди которых было несколько кедров, и частью молодыми липами в возрасте пятнадцати — двадцати лет. Видно было, что за липовым участком наблюдали, деревья были расположены правильными рядами, сходящимися к центру. Липки выращены ровные, прямые, самые удобные для лазанья. Вблизи достраивавшегося дома было полуразрушенное кирпичное здание, похожее на склад. Мне казалось, что это развалины оранжереи, вроде той, какую приходилось видеть в «господской ограде» своего завода. Мои товарищи это оспаривали, уверяя, что тут была бумажная фабрика Верходанова; но эти споры не мешали считать развалины интересным местом для игры.

Значительная часть участка была все-таки пустырем, заросшим репейником и крапивой. Посредине имелись два небольших озера, которые тоже представляли для ребят большой интерес зимой как катки, а весной, при покой воде, как место для плавания на плотках. Училищное начальство

усиленно боролось против последнего использования озерков, снижало баллы по поведению, но все-таки это крепко держалось.

«Садинская квартира», то есть те девять человек, которые там жили, были первыми, «обосновавшимися на новом месте». Владелец дома Сергей Вавилыч проделал в своем заборе калитку, и мы на законном основании, не выходя на улицу, могли носиться по огромному пустырю, прятаться в развалинах, кататься — с оглядкой, впрочем, — на плотиках, которыми служили полотнища каких-то ворот, обрезки досок.

Ребята, живущие в других квартирах, а также казеннокоштные, ютившиеся в самом училищном здании, завидовали нам и усердно расспрашивали, как идет достройка, скоро ли всех переведут на верходановский участок. Когда началась осенняя ловля птиц, это место стало и боевым участком. Городские ребята, жившие по улице Разина, привыкли пользоваться старыми березами для установки силков и западенок, но теперь у них появились полноправные конкуренты из «садинской квартиры», и, как водится, началась война, к обоюдному удовольствию сторон.

Ученикам училища, разумеется, не дозволялось заниматься птицеводством, но у нас оказался удобный выход. Квартира звалась садинской, но Сергей Вавилыч был только владельцем дома, а ученическую квартиру в верхнем этаже держала его дальняя родственница. Сам владелец дома со своей семьей жил в нижнем, полуподвальном этаже, и его квартира не подлежала инспекторской ревизии. Садин, по основной профессии маляр, был большим любителем охоты, рыбной ловли и всего, что связано с походами за город. Хозяйственные люди, как мне потом удалось слышать, не очень одобрительно отзывались о нем:

— Вавило-то ему вон какой дом оставил и к мастерству приучил. Живи, как у Христа за пазухой, а он себя, гляди-ка, в подвал забил. Недаром, видно, сказано: «Охота — не работа, хлеба не даст».

Сергея Вавилыча действительно чаще можно было увидеть с ружьем или рыболовными снарядами, чем с малярными кистями. Оценивая свое положение, этот высокий длиннолицый человек говорил:

— Больше малярных работ наберешь, меньше годов проживешь. Мой вон родитель на сорок пятом свернулся. Дом нажил, а веку не дожил, а мне желательно наоборот: хоть дом проживу, а свое доживу. Больно ведь занято в лесу-то и на реке тоже. Вон я...

И он начинал рассказывать о чем-нибудь недавнем. Тонкое, детское чутье подсказывало, что говорит это не промысловик, а человек, влюбленный в природу и хорошо ее наблюдающий. Особенно часто он рассказывал о весенней охоте на глухарей. При этом неизменно выплывало «лучшее токовище в нашем краю», которое удивляло Садина своей добычливостью.

— Ведь и место не больно удаленное. Между Челябинским трактом и полевской дорогой есть свечной завод. Там воск в больших чанах топят, потом в воду спускают, воск и застывает пластинками вроде стружки. Эту восковую стружку раскидывают на большие решета и отбеливают на солнце, как холсты. Места под отбеливание многонько взято, а людей не так уж много. Двое-трое при варке да пятеро-шестеро по разноске восковой стружки. Что и говорить, дело тихое, а все-таки люди. И рядом, в лесочке, это самое токовище. Куда я ни хаживал, а лучше не видал. Иной раз за одну охоту столько набьешь, что едва до дому донесешь. И не тому дивишься, что охота удачливая, а вот, как это устроено: направо дорога, налево дорога, город близко, а глухарь все-таки это свое токовище не бросил!

В числе других трофеев охоты у Садина была живая лиса. Она была привязана недлинной цепью к обыкновенной собачьей конуре. Понятно, что каждому из нас хотелось «приручить лису», но она злобно тьякала тонким голоском на каждого приближающегося, а если видела что-нибудь у него в руках, то скрывалась в свою конуру. Ближе других подпускала лишь Сергея Вавилыча, когда он приносил еду, но близко не подходила, пока Садин не отойдет. Сосед, нередко заходивший к Сергею Вавилычу, спрашивал:

— На что ты эту нахлебницу держишь? Давно на воротник поспела, а он ее рыбой да мясом кормит! В копеечку она тебе обойдется, а получишь столько же, сколько и сейчас.

— Не конторский я, — отвечает Садин, — чтоб мне все копейки сосчитать. У меня тот интерес, не удастся ли ее приручить.

В квартире у Садина была не одна клетка с птицами, а в сенях жили два ручных голубя. Мы пользовались этой особенностью нашей квартиры: свою птицеловную добычу тащили к Сергею Вавилычу.

Против садинского дома был тогда один маленький домик, в котором останавливались приезжавшие из монастырских заимок. Через ворота этого домика можно было попасть в монастырскую рощу, которая занимала тогда огромную площадь, обнесенную с трех сторон каменной стеной.

Нас, ребят, конечно, привлекали монастырские стены, особенно сложенные из дикого камня. Очень хорошо тут играть «во взятие крепостей». При всей занимательности верходановского сада и строгом запрещении отлучаться с квартиры мы все-таки бегали на нынешнюю улицу Большакова, чтоб оттуда «занять крепость». Кстати, здесь и вовсе в других целях, как я узнал впоследствии, были налажены перелазы. Да ведь как ловко! Стена как стена, а глядишь — один камень убран, другой выдвинут — иди, как по лестнице! Только, конечно, знать, где эти перелазы.

Взрослые не разделяли мнения о занятности монастырских стен. Наоборот, ворчали, что «монашки город теснят да наледь разводят». Действительно, эта «монастырская роща» являлась чужеродным телом и мешала правильной планировке растущего города. Если еще можно было понять назначение ближайшего к монастырю загороженного места, то остальной кусок, кварталов на двенадцать — шестнадцать, казался вовсе ненужным для монастыря. Вероятно, за каменными стенами здесь была просто земельная спекуляция более тонкого вида, чем многочисленные пустыри. Частицу этой спекуляции мне пришлось потом увидеть, когда монастырь продал в годы хождения золотой валюты за сто тысяч рублей свой капустник, на котором теперь построено здание электрохимического института (бывшее епархиальное училище) и высшей партийной школы (бывший строительный институт). Разговор о наледи тоже имел основания. На монастырском участке был устроен прудок, который при неналаженности спуска поддерживал заболоченность нижележащего участка города и ранней весной сказывался наледями на улицах 8 марта, Разина, Чапаева.

Живая лиса во дворе, верходановская усадьба, монастырская стена, которую можно брать приступом, чечетки, щеглы и жуланы «не хуже наших», Сергей Вавилыч, новый уклад жизни — все это так захватило меня, что первые две субботы я не ходил в Верх-Исетск. Когда же наступила осенняя слякоть и игры волей-неволей были перенесены в комнаты, я после какого-то «столкновения в своей среде» вспомнил о Мише, о «необитаемом», о Парасковьюшке, о Никите Савельиче, даже о Софье Викентьевне и почувствовал, что мне стало скучно. Идти в Верх-Исетск уже не решался: «Заругают, что долго не был». В то же время тревожило, как сказать дома, что не хожу к Никите Савельичу. От этого стало еще беспокойнее. Но вот Никита Савельич, возвращаясь из Сысерти, заехал сам. Он рассказал о моих домашних, спросил, как учусь, потом стал разговаривать с другими ребятами. Как выходец из духовных, он знал многих «по отцам», а разговаривать он умел. Всем нашим так понравился, что я потом этим даже гордился.

Посидев в верхнем этаже, он сказал мне:

— Ну, пойдем к Вавилычу.

Оказалось, что он хорошо знал Садина и запросто называл его Вавилычем. Разговаривали они об охоте. Никита Савельич сам охотником не был, но очень интересовался истреблением волков, которые тогда довольно заметно мешали скотоводству. Прощаясь с Садиным, он передал ему два серебряных рубля и попросил:

— Ты, Вавилыч, направляй этого парнишку каждую субботу и канун праздника к нам. Когда вовсе грязно, найми ему извозчика. Выйдут деньги, скажи: с ним пришлю либо сам завезу.

С той поры мои субботние походы в Верх-Исетск стали регулярными. Никита Савельич вовсе «не ругался», а Софья Викентьевна усиленно меня «подкармливала», хотя я и в квартире не голодал.